Возвращение в Брайдсхед

Автор:
Ивлин Во

Возвращение в Брайдсхед

Ивлин Во

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Возвращение в Брайдсхед» (1944) – одна из величайших книг прошлого столетия. Она входит в список 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства «Modern Library», дважды экранизирована – в 1981 и в 2008 годах, переведена на все ведущие языки мира.

История непростых отношений художника Чарльза Райдера с представителями эксцентричной аристократической семьи Флайт. История дружбы и ее утраты, любви и предательства, веры и фанатизма. Но прежде всего – это история заката эпохи «золотых двадцатых» с ее беззаботной жизнью, роскошными поместьями и шумными вечеринками.

Ивлин Во

Возвращение в Брайдсхед

Священные и богохульные воспоминания пехотного капитана Чарльза Райдера

Посвящается Лауре

Примечание автора

Я – это не я; ты – это не он и не она; они – не они.

И. В.

Evelyn Waugh

BRIDESHEAD REVISITED

Печатается с разрешения The Beneficiaries of The Evelyn Waugh Settlement and The Laura Waugh Trust и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

© Evelyn Waugh, 1945

© Перевод. И. Бернштейн, наследники, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Пролог

Брайдсхед обретенный

Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, все было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.

Здесь умерла любовь между мною и армией.

Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку; четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.

На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад, пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой – вот все, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав – след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.

За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых деревьев, стоял городской сумасшедший дом – предмет наших постоянных шуток, и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие – счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: «Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!» Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. «Гитлер свез бы их в газовую камеру, – говорил он. – По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться».

Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних

районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.

А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта, он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого из старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались кто куда – одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио, и перед обедом выпивалось море пива; все было не так, как раньше.

Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.

Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы предстоящего дня – не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по

топографии с допризывниками, – лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию и не стремится радовать ее и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования, мы прошли, армия и я, через все стадии – от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии – прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность и холодное неодобрение и все растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжение трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть и корысть и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.

И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09.15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собой в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я назначил произвести осмотр строя. В 07.30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет «военной тайны» и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. «Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, – сказал батальонный. – Если я по прибытии к месту назначения

обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации».

Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.

«Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ – обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа».

Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:

– Мистера Хупера не было здесь?

– Пока не показывался, сэр.

Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии, и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составленной накануне.

– Сильный ветер ночью, сэр, – скороговоркой пояснил старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье «Саперное учение, сэр».)

Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосами и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.

Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо знал свое дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл «джонами»; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.

Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В тот вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.

– Вон тот молодой офицер – это ваш, Райдер? – обратился он ко мне. – Ему надо постричься.

– Да, сэр, – ответил я. Он был прав. – Я прослежу, чтобы это было сделано.

Полковник выпил еще и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо:

– Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!

Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:

– В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.

Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.

– Вы! – рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. – Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.

– Это приказ, сэр?

– Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.

– Очень хорошо, сэр.

Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.

– Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, – заверил я его.

– Да я не обиделся, – ответил Хупер. – Разве я шуток не понимаю?

У Хупера не было иллюзий касательно армии – вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то, чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом – «как корь», по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии – во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, – Хупер много плакал; но не над речью Генриха в день святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Баннокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.

Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный коммерческий опыт, часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: «Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло».

Он крепко спал, когда я лежал без сна.

За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место «Молодежи» «Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о «Прогрессивном движении Хупера» и об «Общежитиях для Хупера», о «Солидарности Хуперов во всем мире» и о

«Хупере и религии». Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.

Если он в чем и изменился со дня выхода из офицерской школы, то разве только стал за эти месяцы еще меньше похож на бравого вояку. В то утро, сгибаясь под полной выкладкой, он показался мне вообще утратившим облик человеческий. По-танцорски шаркнув подошвой, он замер в стойке «смирно» и растопырил у лба пятерню в шерстяной перчатке.

– Старшина, мне нужно поговорить с мистером Хупером… Ну, где вас черти носят? Я же приказал вам провести осмотр личного состава.

– А что, я опоздал? Извините. Укладывался как проклятый.

– Для этого у вас есть денщик.

– Так-то оно так, строго говоря. Да ведь знаете, как получается. Ему свои вещи надо было укладывать. Если с этими людьми раз не поладишь, они потом в чем-нибудь да на тебе отыграются.

– Ну хорошо, ступайте теперь и проведите осмотр.

– Есть. Железно.

– И Бога ради не говорите «железно».

– Извините. Я все стараюсь не забывать. Да из головы выскакивает.

Хупер отошел, и возвратился старшина.

– Батальонный идет сюда, сэр, – сообщил он мне.

Я зашагал навстречу.

На рыжей свиной щетине его усиков осели капельки тумана.

– Как у вас здесь? Все в порядке?

– Думаю, что в порядке, сэр.

– Думаете? Должны знать.

Его взгляд упал на разбитое окно.

– Внесено в опись поврежденного имущества?

– Нет еще, сэр.

– Нет еще? Интересно, когда бы вы собрались его внести, не попадись оно мне на глаза.

Он чувствовал себя со мной неловко и шумел главным образом из робости, но мне от этого он приятнее не стал.

Он повел меня на зады, где проволочное заграждение отделяло мою территорию от владений пулеметного взвода, лихо перепрыгнул через проволоку и направился к полузасыпанной канаве, некогда служившей на ферме межой. Здесь он принялся копаться офицерской тростью в земле, точно боров на огороде, и вскоре издал торжествующий возглас: ему удалось обнаружить свалку, столь милую аккуратной солдатской душе. В бурьяне валялись коробки из-под сигарет, старые консервные банки, швабра без палки, печная вьюшка, проржавленное ведро, носок, буханка хлеба.

– Вот взгляните-ка, – сказал командир батальона. – Хорошенькое впечатление это произведет на тех, кто разместится здесь после нас.

– Да, ужасное, – ответил я.

– Позор. Распорядитесь, чтобы все было сожжено, прежде чем покинете лагерь.

– Слушаюсь, сэр. Старшина, пошлите солдата к пулеметчикам, пусть передаст капитану Брауну, что командир батальона приказал очистить эту канаву.

Как примет полковник мою отповедь, мне было неясно; ему самому, очевидно, тоже. С минуту он постоял в нерешительности, ковыряя тросточкой отбросы в канаве, затем повернулся на каблуках и ушел.

– Напрасно вы это, сэр, – сказал старшина, мой наставник и хранитель с первого дня, как я прибыл в роту. – Ей-богу, напрасно.

– Это не наша свалка.

– Так-то оно так, сэр, да ведь знаете, как получается. Если со старшим офицером раз не поладишь, он потом в чем-нибудь да на тебе отыграется.

Когда мы проходили маршем мимо сумасшедшего дома, три старика стояли за решеткой забора и бормотали что-то доброжелательное.

– Эгей, приятель, до скорой встречи!

– Ждите нас!

– Не скучайте, ребята, скоро увидимся! – кричали им солдаты.

Я шагал вместе с Хупером впереди головного взвода.

– Имеете представление, куда нас?

– Ни малейшего.

– Может, наконец туда?

– Нет.

– Опять, значит, ложная тревога?

– Да.

– А все говорят, туда едем. Сам не знаю, что и подумать. Глупо вроде как-то, вся эта муштра и волынка, если мы так никогда и не повоюем.

– Не волнуйтесь, время придет, на каждого с лихвой хватит.

– Да мне особенно-то много и не надо. Чтоб только можно было сказать, что был в деле.

На запасных путях нас дожидался состав из допотопных пассажирских вагонов; погрузкой распоряжался какой-то железнодорожный начальник; рабочая команда сносила последние вещмешки из грузовиков в багажные вагоны. Через полчаса мы были готовы и через час тронулись.

Трое моих взводных и я заняли отдельное купе. Они ели бутерброды и шоколад, курили, спали. Книги не нашлось ни у одного. Первые три или четыре часа они прочитывали названия городов, через которые мы проезжали, и высовывались из окна, когда поезд – что случалось довольно часто – останавливался в чистом поле. Потом и этот интерес у них пропал. В полдень и второй раз, когда стемнело, давали чуть теплое какао, его разливали из бидонов нам в кружки большим черпаком. Эшелон медленно тащился южной магистралью по плоской, унылой местности.

Основным событием дня была «оперативка» у батальонного командира. Приглашение мы получили через вестового и собрались у полковника в купе, где застали его самого и его адъютанта в касках и полной амуниции. Первыми его словами были:

– Здесь у нас оперативное совещание, и каждый обязан быть одет по всей форме. То обстоятельство, что в данный момент мы в поезде, значения не имеет. – Я подумал, что нас выгонят, но он обвел всех свирепым взглядом и заключил: – Прошу сесть.

– Лагерь оставлен в позорном состоянии. Повсюду, куда я ни заглядывал, обнаруживались доказательства дурного исполнения офицерами своего долга. Состояние, в каком оставляется лагерь, – это лучшая проверка деятельности ротных офицеров. Именно от этого зависит добрая слава батальона и его командира. И я, – действительно ли он сказал это, или я просто передаю словами то возмущение, которое выражали его голос и взгляд, наверное, он все-таки

этого не сказал, – я не допущу, чтобы моя профессиональная репутация пострадала из-за расхлябанности отдельных временно служащих офицеров.

Мы держали на коленях блокноты, дожидаясь, когда надо будет записывать распоряжения. Более чуткий человек понял бы, что не сумел произвести желаемый эффект; а может быть, он это и понял, потому что заключил тоном обиженного учителя:

– Я прошу всего только добросовестного отношения.

Затем, развернув свои заметки, стал читать:

– «Приказ.

Обстановка. В настоящее время батальон перебрасывается из пункта А в пункт В. Переброска производится по крупной железнодорожной магистрали, представляющей опасность в отношении воздушных бомбардировок и химических атак со стороны противника.

Задача. Моя задача – прибыть в пункт В.

Средства. Эшелон прибывает к месту назначения около 23 часов 15 минут».

И так далее.

Самое неприятное содержалось в конце под рубрикой «Предписания». Третьей роте предписывалось по прибытии эшелона на место приступить двумя взводами к выгрузке батальонного имущества и переброске его на трех грузовиках, имеющих ожидать в пункте прибытия, в район нового расположения части; работу производить до завершения; третьему взводу обеспечить охрану временного полевого склада, а также выставить часовых по периметру нового лагеря.

– Вопросы есть?

– Можно будет получить дополнительно какао для рабочей команды?

– Нет. Еще вопросы?

Когда я рассказал о полученных распоряжениях своему старшине, он вздохнул:

– Бедная третья рота, опять нам досталось.

И я услышал в этих словах укор за то, что настроил против себя батальонного командира.

Я сообщил новость взводным.

– Н-да, – растерялся Хупер. – Перед ребятами неловко. Они жутко разозлятся. Что это он, где грязная работа, так обязательно нас назначает?

– Вы пойдете в охрану.

– Так-то оно так. Да как я найду в темноте периметр?

Наступил час затемнения, и вскоре нас опять побеспокоил вестовой, уныло пробиравшийся вдоль вагонов с трещоткой в руке. «Deuxieme service!»[1 - Вторая очередь! (фр.) – приглашение второй смены в вагон-ресторан. – Здесь и далее примеч. пер.] – сострил кто-то из сержантов пообтесаннее.

– Нас обрызгивают жидким горчичным газом, – объявил я. – Немедленно закрыть все окна.

Затем я сел и написал аккуратненький рапорт о том, что жертв нет и ничего из ротного имущества не заражено и что мною выделены люди для проведения перед выгрузкой из эшелона наружной дегазации вагона. Как видно, батальонного это удовлетворило, потому что больше он нас не дергал. Когда совсем стемнело, мы уснули.

Наконец, с большим опозданием, мы прибыли на наш разъезд. Ради соблюдения военной тайны и в целях лучшей боевой подготовки нам надлежало сторониться платформ и вокзалов. Прыжки в темноте с подножки вагона на шлаковую насыпь повлекли за собой неизбежные беспорядки и увечья.

– Построиться на дороге под откосом! Капитан Райдер, третья рота, как всегда, не торопится.

– Да, сэр, у нас там кое-какие сложности с известью.

– С известью?

– Для наружной дегазации вагонов, сэр.

– О, какая добросовестность. Можете этим ограничиться и приступайте к делу.

Мои хмурые полусонные солдаты, бренча снаряжением, строились на дороге. Скоро взвод Хупера ушел, маршируя, во тьму; я разыскал трехтонки, расставил солдат цепочкой по крутому откосу, чтобы передавать грузы из рук в руки; и вот уже, занятые какой-то осмысленной деятельностью, все приободрились. Первые полчаса я работал вместе с ними, потом вышел из цепочки, потому что появился мой помкомроты, выехавший к нам навстречу с первым разгруженным грузовиком.

– Лагерь недурен, – доложил он. – Большой барский дом, и даже пруды есть. Еще постреляем уток, если повезет. Рядом деревня с одним питейным заведением и почтой. Никаких городов на много миль вокруг. Я занял на нас двоих отдельный домик.

К четырем часам утра работа была кончена. Я ехал последним грузовиком по извилистой проселочной дороге, и свисающие ветви деревьев хлестали по ветровому стеклу; в каком-то месте мы свернули с дороги и поехали по подъездной аллее; потом в каком-то месте выехали на открытое пространство, где сходились две аллеи; здесь, в кольце зажженных керосиновых фонарей, грудой лежало наше снаряжение. Мы разгрузили последний грузовик и наконец-то под низким черным небом, из которого начал сеяться мелкий дождь, пошли за провожатыми на свои квартиры.

Я спал, пока денщик не разбудил меня, а тогда устало поднялся, молча побрился и, только уходя, обернулся с порога и спросил своего помкомроты:

– А как эта местность называется?

Он ответил; и в ту же секунду словно кто-то выключил радио и голос, бубнивший у меня над ухом беспрестанно, бессмысленно день за днем, вдруг пресекся; наступила великая тишина, сначала пустая, но постепенно, по мере того как возвращались ко мне потрясенные чувства, наполнившаяся сладостными, простыми, давно забытыми звуками, ибо он назвал имя, которое было мне хорошо знакомо, волшебное имя такой древней силы, что при одном только его звуке призраки всех этих последних тощих лет чередой понеслись прочь.

Я вышел и в смятении и трепете остановился за порогом. Дождь кончился, облака низко и тяжело висели над головой. Было тихое утро, дым лагерной кухни столбом поднимался к свинцовому небу. По склону холма, скрываясь из глаз за поворотом, тянулась дорога, некогда засыпанная щебнем, затем заросшая травой, теперь же раскатанная и разбитая в жидкую грязь, а по обе стороны от нее стояло и лежало железо, и оттуда доносился стук, и шум, и свист, и крики – все звуки зверинца, какие издает батальон, начиная новый день. А дальше вокруг нас, еще более знакомый, расстилался изумительный искусственный ландшафт. Мы находились в замкнутой, отгороженной от мира неширокой долине. Наш лагерь был разбит на одном ее отлогом склоне; еще не тронутый противоположный склон поднимался прямо перед нами к близкому дружественному горизонту, а между нами протекала речка – она называлась Брайд и брала начало всего в каких-нибудь двух милях отсюда, возле живописной фермы, носившей название Брайдспринг, куда мы нередко ходили пешком после обеда; ниже, перед тем как слиться с Эвоном, она становилась внушительной рекой, а здесь, перегороженная плотинами, разливалась, образуя три пруда, один – как мокрая сланцевая плитка в камышах, зато два других широко и свободно вмещали в себя отражения облаков и могучих прибрежных буков. В лесу росли одни дубы и буки: дубы – черные, голые, буки – чуть припорошенные зеленью лопнувших почек; купы деревьев живописно и просто обступали то маленькую зеленую прогалину, то широкую зеленую поляну – паслись ли еще на них пятнистые олени? – а у воды, чтобы взгляд не блуждал бесцельно, был построен дорический храм и последний водослив венчала увитая плющом арка. Все это было распланировано, выстроено и посажено полтора столетия тому назад, чтобы примерно к нашему времени достигнуть расцвета.

С того места, где я стоял, дом был не виден за зеленым бугром, но я и без того знал, где и как он расположен, укрытый кронами лип, точно спящая лань папоротниками.

Подошел откуда-то взявшийся Хупер и откозырял мне на свой неподражаемый – хотя подражать пытались многие, – особый лад. Лицо его было серо после ночного бдения, и побриться он еще не успел.

– Нас сменила вторая рота. Я послал ребят привести себя в порядок.

– Хорошо.

– Дом вон там, за поворотом.

– Да, – ответил я.

– На будущей неделе в нем разместится штаб бригады. Ничего квартира. Просторная. Я только оттуда – осматривал. Очень живописно, я бы сказал. Интересно, там пристроена вроде католическая часовня, так в ней, когда я заглянул, по-моему, шла служба – один только падре и еще какой-то старикан. А я влез как дурак. Мне это ни с какого боку, скорее по вашей части.

Вероятно, ему показалось, что я не слушаю. И в последней попытке возбудить мой интерес он добавил:

– И еще там здоровенный фонтанище перед главным входом – камни, камни и разное зверье высечено. Вы такого в жизни не видели.

– Видел, Хупер. Я бывал здесь раньше.

Эти слова отдались у меня в ушах, повторенные громким эхом в подземельях моей темницы.

– Ну, тогда вы сами все здесь знаете. Я пошел, надо привести себя в порядок.

Я бывал здесь раньше, я сам все здесь знал.

Книга первая

Et in arcadia ego[2 - И я в Аркадии (лат.).]

Глава первая

Я бывал здесь раньше, сказал я; и я действительно уже бывал здесь; первый раз – с Себастьяном, больше двадцати лет назад, в безоблачный июньский день, когда канавы пенились цветущей таволгой и медуницей, а воздух был густо напоен ароматами лета; то был один из редких у нас роскошных летних дней, и, хотя после этого я приезжал сюда еще множество раз при самых различных обстоятельствах, о том, первом, дне вспомнил я теперь, в мой последний приезд.

В тот день я тоже не подозревал, куда еду. Была Гребная неделя. Оксфорд – теперь похороненный в памяти и утраченный невозвратимо, как земля Лион, ибо с такой бедственной быстротой нахлынули перемены, – Оксфорд был еще в те времена городом старой гравюры. По его широким тихим улицам люди ходили, беседуя, как при Джоне Ньюмене; осенние туманы, серые весны и редкая прелесть ясных летних дней – подобных этому дню, когда каштаны в цвету и колокола звонко и чисто вызванивают над шпилями и куполами, – все мирно дышало там столетиями юности. Здесь, в этой монастырской тиши, особенно звонко раздавался наш веселый смех и далеко разносился над гудением жизни. И вот сюда, в строгий монашеский Оксфорд, на Гребную неделю хлынула толпа представительниц женского пола числом в несколько сот человек, они щебетали и семенили по булыжнику мостовых и по ступеням старинных лестниц, осматривали красоты архитектуры и требовали развлечений, пили крюшон, ели сандвичи с огурцом, катались на лодках и стайками шли с берега на факультетские баржи и вызывали в «Изиде» и Студенческом союзе взрывы неумеренного и неуместного опереточного веселья, а под церковными сводами – непривычное высокоголосое эхо. Эхо вторжения проникало во все закоулки, в моем же колледже было не эхо, а самый источник неприличия: мы давали бал. На внутреннем дворике, куда выходили мои окна, натянули тент и сколотили дощатый настил, вокруг привратницкой расставили горшки с пальмами и азалиями, да еще в довершение всего один преподаватель на втором этаже, мышеподобный человек, имевший отношение к естественному факультету, уступил свои комнаты под женскую гардеробную, о чем саженными буквами провозглашало возмутительное объявление, прибитое в нескольких дюймах от моего порога. Больше всех негодовал по этому поводу мой университетский

служитель.

– Джентльмены без дам в течение ближайших нескольких дней приглашаются по возможности принимать пищу на стороне, – сокрушенно объявил он. – Будете обедать дома?

– Нет, Лант.

– Это, они говорят, нужно, чтобы разгрузить служителей. И впрямь дозарезу необходимо. Мне, например, поручено купить подушечку для булавок в дамскую гардеробную. С чего это они затеяли танцы? Никак в толк не возьму. Раньше на Гребную неделю никогда не было никаких танцев. На Память основателей – другое дело, потому на каникулы приходится, но на Гребную – никогда. Как будто мало им чая и катания на реке. Если спросите меня, сэр, так это все из-за войны. Ничего бы такого не случилось, когда б не война. – Был 1923 год, и для Ланта, как и для тысяч других, после четырнадцатого года все безнадежно изменилось к худшему. – Ежели примерно вино к ужину, – продолжал он, по своей всегдашней привычке то появляясь в дверях, то вновь выходя из комнаты, – или там два-три джентльмена в гости к обеду, это уж как положено. Но не танцы. Это все завелось, как джентльмены вернулись с войны. Возраст их уже вышел, а они не разбираются, что да как, и учиться не хотят. Истинная правда. Есть такие, что ходят на танцы с городскими в Масонский дом, ну до этих прокторы скоро доберутся, помяните мое слово. А вот и лорд Себастьян, сэр. Ну, мне недосуг тут стоять и разговаривать, надо идти за подушечками для булавок.

Вошел Себастьян – серебристо-серая фланель, белый крепдешин, яркий галстук – мой, между прочим, – с узором из почтовых марок.

– Чарльз, что это, скажите на милость, происходит у вас в колледже? Цирк? Я видел все, кроме слонов. Признаюсь, весь Оксфорд вдруг весьма неприятно преобразился. Вчера вечером он кишмя кишел женщинами. Идемте немедленно, я должен вас спасти. У меня есть автомобиль, корзинка земляники и бутылка «Шато-Перигей», которого вы никогда не пробовали, потому не притворяйтесь. С земляникой оно восхитительно.

– Куда мы едем?

– Навестить одного человека.

– По имени?

– Хокинс. Захватите денег, на случай если нам вздумается что-нибудь купить. Автомобиль принадлежит некоему лицу по фамилии Хардкасл. Вернете ему обломки, если я разобьюсь и погибну, – я не очень-то умею водить машины.

За оранжереей, в которую обращена была наша привратницкая, по выходе из ворот нас ждал открытый двухместный «моррис-каули». За рулем сидел Себастьянов плюшевый медведь. Мы посадили его посередине: «Позаботьтесь, чтобы его не укачало», – и тронулись в путь. Колокола Святой Марии вызванивали девять; мы удачно избегли столкновения со священником при черной шляпе и белой бороде, задумчиво катившим на велосипеде прямо нам навстречу по правой стороне улицы, пересекли Карфакс, миновали вокзал и вскоре уже ехали по дороге на Ботли среди полей и лугов; в те дни поля и луга начинались совсем близко.

– Не правда ли, как еще рано! – сказал Себастьян. – Женщины еще заняты тем, что там они с собой делают, прежде чем спуститься к завтраку. Лень их сгубила. Мы успели удрать. Да здравствует Хардкасл!

– Кто бы он ни был.

– Он думал, что едет с нами. Лень и его сгубила. Я ему ясно сказал: в десять. Это один очень мрачный человек из нашего колледжа. Он живет двойной жизнью. По крайней мере так я предполагаю. Нельзя же всегда, днем и ночью, оставаться Хардкаслом, верно? Он бы давно умер. Он говорит, что знает моего отца, а этого не может быть.

– Почему?

– Папу никто не знает. Он отверженный. Разве вы не слышали?

– Как жаль, что ни вы, ни я не умеем петь, – сказал я.

В Суиндоне мы свернули с шоссе и некоторое время ехали между коттеджами из тесаного камня, стоявшими за низкими оградами из светлого песчаника. Солнце поднималось все выше. Часов в одиннадцать Себастьян неожиданно съехал с дороги на какую-то тропу и затормозил. Уже припекало настолько, что самое время было укрыться в тени. На ощипанном овцами пригорке под сенью раскидистых вязов мы съели землянику и выпили вино – которое, как и сулил Себастьян, с земляникой оказалось восхитительным, – раскурили толстые турецкие сигареты и лежали навзничь – Себастьян глядя вверх в густую листву, а я вбок, на его профиль, между тем как голубовато-серый дым подымался над нами, не колеблемый ни единым дуновением, и терялся в голубовато-зеленой тени древесной кроны и сладкий аромат табака смешивался с ароматами лета, а пары душистого золотого вина словно приподнимали нас на палец над землей, и мы парили в воздухе, не касаясь травы.

– Самое подходящее место, чтобы зарыть горшок золотых монет, – сказал Себастьян. – Хорошо бы всюду, где был счастлив, зарывать в землю что-нибудь ценное, а потом в старости, когда станешь безобразным и жалким, возвращаться, откапывать и вспоминать.

Я был студентом уже третий семестр, но свою жизнь в Оксфорде я датирую со времени моего знакомства с Себастьяном, происшедшего случайно в середине предыдущего семестра. Мы числились в разных колледжах и были выпускниками разных школ. Я вполне мог провести в университете все три или четыре года и никогда с ним не встретиться, если бы не случайное стечение обстоятельств: однажды вечером он сильно напился в моем колледже, а я жил на первом этаже, и мои окна выходили на внутренний дворик.

Об опасностях этого жилища меня специально предупреждал мой кузен Джаспер; когда я обосновался в Оксфорде, он один из всех наших родственников счел меня достойным объектом для своего руководства. Отец никаких советов мне не давал. Он, как всегда, уклонился от серьезного разговора. Единственный раз он завел речь на эту тему, когда до моего отъезда в университет оставалось каких-нибудь две недели, заметив как бы вскользь и не без ехидства:

– Я говорил о тебе. Встретил в «Атенеуме» твоего будущего ректора. Мне хотелось говорить об идее бессмертия у этрусков, а ему – о популярных лекциях для рабочих, вот мы и пошли на компромисс и разговаривали о тебе. Я спросил

его, какое содержание тебе назначить. Он ответил: «Три сотни в год, и ни в коем случае не давайте ему ничего сверх этого. Столько получает большинство». Но я подумал, что его совет едва ли хорош. Я в свое время получал больше, чем многие, и, насколько помню, нигде и никогда эта разница в несколько сотен фунтов не имела такого значения для популярности и веса в обществе. У меня была сначала мысль определить тебе шестьсот фунтов, – сказал мой отец, слегка посапывая, как он делал всегда, когда что-то казалось ему забавным, – но я подумал, что если ректор случайно об этом узнает, он может усмотреть здесь нарочитую невежливость. Поэтому даю тебе пятьсот пятьдесят.

Я поблагодарил его.

– Да-да, конечно, я тебя слишком балую, но это все деньги из капитала, так что… А теперь я, видимо, должен дать тебе наставления. Мне самому никто наставлений не давал, не считая твоего дяди Элфрида. Вообрази себе, летом перед моим поступлением в университет твой дядя Элфрид специально приехал в Боутон, чтобы дать мне совет. И знаешь, что это был за совет? «Нед, – сказал он мне, – об одном я тебя настоятельно прошу. Всегда носи по воскресеньям цилиндр. Именно по цилиндру судят о человеке». И ты знаешь, – продолжал мой отец, все явственнее сопя носом, – я так и делал. Одни носили цилиндры, другие нет. И я никогда не замечал, чтобы между теми и этими существовала разница. Но сам я всегда носил по воскресеньям цилиндр. Это показывает, какую пользу может принести разумный совет, умело и вовремя преподанный. Хотелось бы и мне дать тебе столь же полезный совет, но мне тебе нечего посоветовать.

Зато кузен Джаспер восполнил этот пробел с лихвой; он был сыном старшего брата моего отца, которого отец нередко называл – наполовину в шутку, наполовину всерьез – «главой рода»; Джаспер учился в Оксфорде четвертый год и в прошлом семестре едва не сподобился быть включенным в университетскую восьмерку. Он был секретарем клуба «Кеннинг» и председателем ораторского кружка – фигура в колледже довольно значительная. В первую же неделю моего пребывания в Оксфорде он нанес мне официальный визит и остался к чаю. Воздав должное медовым плюшкам, гренкам с анчоусами и щедро отведав орехового торта от Фуллера, он закурил трубку и, откинувшись в соломенном кресле, стал излагать правила поведения, кажется, на все случаи жизни; я и сегодня могу повторить слово в слово едва ли не все его наставления.

– Ты на историческом? Вполне солидный факультет. Самый трудный экзамен – английская литература, за ней идет современная филология. Сдавать надо на

высший балл или на низший. Все, что в промежутке, не стоит труда. Время, потраченное на получение заслуженной двойки, потрачено впустую. Ходить надо на самые лучшие лекции, например на аркрайтовский курс по Демосфену, независимо от того, на каком факультете они читаются. Теперь платье.

Одевайся, как в загородном доме. Никогда не носи твидовый пиджак с фланелевыми брюками, а только костюмы. И шей у лондонского портного – там и крой лучше, и кредит долгосрочнее. Клубы. Поступишь теперь в «Карлтон», а в начале второго курса – в «Грид». Если захочешь выдвинуть свою кандидатуру в Союз – затея вовсе не бессмысленная, – составь себе сначала репутацию в «Чатеме» или, скажем, в «Кеннинге» и начни с выступлений по поводу газеты. Кабаний холм обходи стороной. – Небо над крутоверхими крышами напротив моих окон зарделось, потом погасло; я подсыпал угля в камин, зажег лампу, осветив во всей красе его безупречные брюки гольф от лондонского портного и леандровский галстук. – Не обращайся с ассистентами как с учителями, держись с ними, как дома с приходским священником. На втором курсе тебе придется употребить львиную долю своего времени на то, чтобы избавиться от нежелательных знакомств, которые приобрел на первом. Остерегайся англо-католиков, они все содомиты и говорят с неприятным акцентом. Вообще держись в стороне от всяких религиозных групп: от них один вред.

В заключение, уже прощаясь, он сказал:

– И последнее. Смени комнаты. – Это были просторные комнаты с глубокими нишами окон и крашеными деревянными панелями XVIII века; редко кому из первокурсников доставались такие. – Мне известно немало случаев, когда человек погибал оттого, что занимал комнаты в нижнем этаже окнами на внутренний дворик, – продолжал мой кузен в тоне сурового предостережения. – Сюда станут заходить люди. Оставлять свои мантии, потом брать их по дороге в столовую; ты начнешь угощать их хересом. И так не успеешь оглянуться, а у тебя уже не квартира, а бесплатный бар для всех нежелательных лиц из твоего колледжа.

Ни одному из этих советов я, по-моему, не последовал. Комнаты я, во всяком случае, не сменил; там под окнами цвели белые левкои, даря мне летними ночами свой восхитительный аромат.

Задним числом несложно приписать себе в юности разум не по годам и неиспорченность вкусов, которой не было; несложно подтасовать даты,

прослеживая свой рост, по отметкам на дверном косяке. Мне приятно думать – и я иногда в самом деле думаю, – будто я украсил тогда свои комнаты гравюрами Морриса и слепками из Арунделевской коллекции и будто книжные полки у меня были уставлены фолиантами XVII века и французскими романами времен Второй империи, в переплетах из сафьяна и муарового шелка. Но это было не так. В первый же день я гордо повесил над камином репродукцию ван-гоговских «Подсолнечников» и поставил экран с провансальским пейзажем Роджера Фрая, который я купил по дешевке на распродаже в мастерских «Омеги». Еще у меня висели афиша работы Мак-Найта Кауффера и гравированные листы со стихами из книжного магазина «Поэзия», но хуже всего была фарфоровая статуэтка Полли Пичем, стоявшая на камине между двумя черными подсвечниками. Книги мои были немногочисленны и неоригинальны: «Вид и план» Роджера Фрая, иллюстрированное издание «Шропширского парня», «Выдающиеся викторианцы», несколько томиков «Поэзии георгианской эпохи», «Унылая улица» и «Южный ветер»; и мои первые знакомые вполне соответствовали такой обстановке. Это были: Коллинз, выпускник Винчестера и будущий университетский преподаватель, обладавший изрядной начитанностью и младенческим чувством юмора; и небольшой кружок факультетских интеллектуалов, державшихся среднего курса между ослепительными «эстетами» и усердными «пролетариями», которые самозабвенно и кропотливо овладевали фактами, засев у себя в меблированных комнатах на Иффли-роуд и Веллингтон-сквер. В этот кружок был я принят с первых дней и здесь нашел ту же компанию, к какой привык в школе, к какой школа меня заранее подготовила; но уже в первые дни, когда самая жизнь в Оксфорде и собственная квартира и собственная чековая книжка были источником радости, я в глубине души чувствовал, что это еще не все, что этим не исчерпываются прелести оксфордской жизни.

При появлении Себастьяна серые фигуры моих университетских знакомых отошли на задний план и затерялись в окружающем ландшафте, словно овцы в туманном вереске взгорий. Коллинз опровергал передо мной положения новой эстетики:

– Идею «значимой формы» следует либо принять, либо отвергнуть in toto[3 - В целом (лат.).]. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля.

Но истина открылась мне только в тот день, когда Себастьян, листая от нечего делать «Искусство» Клайва Белла, прочел вслух: «Разве кто-нибудь испытывает

при виде цветка или бабочки те же чувства, что и при виде собора или картины?» – и сам ответил: «Разумеется. Я испытываю».

Я знал Себастьяна в лицо задолго до того, как мы познакомились. Это было неизбежно, так как с первого дня он сделался самым заметным студентом на курсе благодаря своей красоте, которая привлекала внимание, и своим чудачествам, которые, казалось, не знали границ. Впервые я увидел его, столкнувшись с ним на пороге парикмахерской Джермера, и был потрясен не столько его внешностью, сколько тем обстоятельством, что он держал в руках большого плюшевого медведя.

– Это был лорд Себастьян Флайт, – объяснил мне брадобрей, когда я уселся в кресло. – Весьма занятный молодой джентльмен.

– Несомненно, – холодно согласился я.

– Второй сын маркиза Марчмейна. Его брат, граф Брайдсхед, окончил курс в прошлом семестре. Вот он был совсем другой, на редкость тихий, уравновешенный джентльмен, просто как старичок. Знаете, зачем лорд Себастьян приходил? Ему нужна была щетка для его плюшевого мишки, непременно с очень жесткой щетиной, но, сказал лорд Себастьян, не для того, чтобы его причесывать, а чтобы грозить ему, когда он раскапризничается. Он купил очень хорошую щетку из слоновой кости и отдал выгравировать на ней «Алоизиус» – так зовут медведя.

Этот человек, которому за столько лет вполне могли бы уже прискучить студенческие фантазии, был явно пленен. Я, однако, отнесся к молодому лорду неодобрительно и в дальнейшем, видя его мельком на извозчике или за столиком у «Джорджа», обедающим в накладных бакенбардах, не изменил своего отношения, хотя Коллинз, штудировавший в это время Фрейда, объяснил мне все в самых научных терминах.

Да и обстоятельства нашего знакомства, когда оно наконец состоялось, были не слишком благоприятны. Дело было в начале марта, незадолго до полуночи; я угощал у себя факультетских интеллектуалов разогретым вином с пряностями; комната была жарко натоплена, в воздухе густо стоял табачный дым и запах специй, и голова моя шла кругом от умных разговоров. Я распахнул окно, и с университетского дворика ко мне донесся довольно обычный здесь пьяный смех

и нетвердый звук шагов.

– Постойте-ка, – проговорил один голос.

Другой буркнул:

– Ладно, идемте.

– Полно времени… – не очень внятно возразил третий. – Пока Том не пробьет последний раз…

И тут еще один голос, более звонкий и чистый, чем остальные, произнес:

– Знаете, я ощущаю совершенно непонятную дурноту. Простите, принужден покинуть вас на минуту.

Через мгновение в моем окне появилось лицо, в котором я узнал лицо Себастьяна, но не такое, каким я видел его раньше, оживленное и светлое; он мгновение смотрел на меня невидящими глазами, затем перегнулся через подоконник поглубже в комнату, и его стошнило.

Подобные завершения дружеских ужинов не были у нас в диковину; на такие случаи существовал даже определенный тариф вознаграждения служителей; мы все методом проб и ошибок учились пить и знать меру. И была какая-то трогательная чистоплотность наизнанку в том, как Себастьян в своей крайности поспешил к открытому окну. Но все-таки, что там ни говори, знакомство было не из приятных.

Товарищи выволокли его из ворот, и через несколько минут студент, задававший пирушку, приветливый итонец с моего курса, вернулся, чтобы принести извинения. Он тоже был сильно пьян, и речи его носили характер повторяющийся, а под конец еще и слезливый.

– Беда в том, что вина были слишком разные, – объяснял он, – ни количество, ни качество тут ни при чем. Все дело в смеси. Уразумейте это, и вы постигнете корень зла. Понять – значит простить.

– Да-да, – ответил я, однако на следующее утро, выслушивая упреки Ланта, все еще испытывал досаду.

– Кувшин-другой подогретого вина на пятерых, – ворчал Лант, – и вот, пожалуйста. Не успели даже до окна добежать. Кто не умеет пить, пусть не берется, я так считаю.

– Это не мы, Лант. Это один человек не из нашего колледжа.

– Мне от этого не легче вывозить всю эту мерзость.

– Там для вас пять шиллингов на буфете.

– Видел и благодарю, но по мне лучше уж не надо денег и чтоб не было этого безобразия.

Я надел университетскую мантию и оставил его в одиночестве делать свое дело. В те дни я еще посещал лекции и домой вернулся незадолго до полудня. Моя гостиная была завалена цветами, во всех углах, на всех столах, полках и подоконниках, во всех мыслимых сосудах стояло столько цветов, что казалось – и в действительности так и было, – сюда перекочевало содержимое целого цветочного магазина. Когда я вошел, Лант как раз заворачивал в бумагу последний букет, который собирался унести с собой.

– Что это все означает, Лант?

– Вчерашний джентльмен, сэр. Он оставил вам записку.

Записка была написана цветным карандашом поперек целого листа моего лучшего ватмана: «Я жестоко раскаиваюсь. Алоизиус не хочет со мной разговаривать, пока не убедится, что я прощен, поэтому, пожалуйста, приходите ко мне сегодня обедать. Себастьян Флайт». Как это на него похоже, подумал я, считать, что я знаю, где он живет; впрочем, я и в самом деле знал.

– Занятный молодой джентльмен, и убирать за ним одно удовольствие. Я так понимаю, вас сегодня к обеду дома не будет, сэр? Я предупредил мистера Коллинза и мистера Партриджа – они хотели прийти сегодня к нам обедать.

– Да, Лант, сегодня я к обеду не буду.

Этот званый обед – ибо там оказалось еще несколько гостей – знаменовал начало новой эры в моей жизни. Но подробности его стерлись в моей памяти, на него наслоились воспоминания о многих ему подобных, которые следовали друг за другом весь этот и следующий семестры, точно хоровод купидончиков на ренессансном фризе.

Я шел туда не без колебания, ибо то была чужая территория, и какой-то вздорный внутренний голос предостерегающе нашептывал мне на ухо с характерной интонацией Коллинза, что достойней было бы воздержаться. Но я в ту пору искал любви, и я пошел, охваченный любопытством и смутным, неосознанным предчувствием, что здесь наконец я найду ту низенькую дверь в стене, которую, как я знал, и до меня уже находили другие и которая вела в таинственный, очарованный сад, куда не выходят ничьи окна, хоть он и расположен в самом сердце этого серого города.

Себастьян жил в колледже Христовой церкви, на верхнем этаже Медоу-Билдингс. Я застал его одного, он стоял и обколупывал бекасиное яйцо, которое вынул из большого, выложенного мохом гнезда, украшавшего середину стола.

– Я их пересчитал, – объяснил он, – и вышло по пять на каждого и два лишние. Эти два я взял себе. Умираю с голоду. Я безоговорочно отдался в руки господ Долбера и Гудолла и теперь чувствую себя так упоительно, словно все вчерашнее было лишь сном. Умоляю, не будите меня.

Он был волшебно красив той бесполой красотой, которая в ранней юности, словно звонкая песня, зовет к себе любовь, но вянет при первом же дыхании холодного ветра.

В его гостиной были собраны самые неуместные предметы – фисгармония в готическом ящике, корзина для бумаг в виде слоновьей ноги, груда восковых плодов, две несуразно огромные севрские вазы, рисунки Домье в рамках, – и все это выглядело особенно странно рядом с простой университетской мебелью и большим обеденным столом. На камине толстым слоем лежали пригласительные карточки от хозяек лондонских салонов.

– Этот злодей Хобсон запер Алоизиуса в спальне, – сказал он. – Впрочем, наверное, и к лучшему, потому что бекасиных яиц на него не хватит. Знаете, Хобсон питает вражду к Алоизиусу. Я вам завидую – у вас прекрасный служитель. Сегодня утром он был со мною очень добр, когда другие могли бы выказать строгость.

Собрались гости. Это были три итонских выпускника, ныне первокурсники, элегантные, слегка рассеянные, томные юноши; накануне они все вместе побывали на каком-то балу в Лондоне и сегодня говорили о нем, словно о похоронах близкого, но нелюбимого родственника. Каждый, входя, прежде всего бросался к бекасиным яйцам, потом замечал Себастьяна и наконец меня – со светским отсутствием какого-либо интереса, словно говоря: «У нас и в мыслях нет оскорбить вас хотя бы намеком на то, что вы с нами незнакомы».

– Первые в этом году, – говорили они. – Где вы их достаете?

– Мама присылает из Брайдсхеда. Они для нее всегда рано несутся.

Когда с яйцами было покончено и мы приступили к ракам под ньюбургским соусом, появился последний гость.

– Мой милый, – протянул он, – я не мог вырваться раньше. Я обедал со своим н-н-немыслимым н-н-аставником. Он нашел весьма странным, что я ухожу. Я сказал, что должен переодеться перед ф-ф-футболом.

Он был высок, тонок, довольно смугл, с огромными влажными глазами. Мы все носили грубошерстные костюмы и башмаки на толстой подошве. На нем был облегающий шоколадный, в яркую белую полоску, пиджак, замшевые туфли, большой галстук-бабочка, и, входя, он стягивал ярко-желтые замшевые перчатки; полугалл, полуянки, еще, быть может, полуеврей; личность полностью экзотическая.

Это был – мне нужно было его представлять – Антони Бланш, главный оксфордский эстет, притча во языцех от Чаруэлла до Сомервилла. Мне много раз на улице показывали его, когда он вышагивал своей павлиньей поступью; мне приходилось слышать у «Джорджа» его голос, бросающий вызов условностям, и теперь, встретив его в очарованном кругу Себастьяна, я с жадностью поглощал его, точно вкусное, изысканное блюдо.

После обеда он вышел на балкон и над толпой студентов в свитерах и теплых кашне, спешащих мимо на реку, в рупор, странным образом оказавшийся среди безделушек Себастьяна, завывающим голосом декламировал отрывки из «Бесплодной земли»[4 - Поэма Т. С. Элиота (1888–1965) – американского и английского поэта. Перевод А. Сергеева.].

А я, Тиресий, знаю наперед, —

рыдал он над ними из-под сводов венецианской галереи, —

Все, что бывает при таком визите,

Я у фиванских восседал ворот

И брел среди отверженных в Аиде.

И тут же, возвратясь в комнату, весело:

– Как я их удивил! Для меня каждый гребец – это еще одна доблестная Грейс Дарлинг.

Мы еще долго сидели за столом, попивая восхитительный куантро, и самый томный и рассеянный из итонцев распевал: «И павшего воина к ней принесли…», аккомпанируя себе на фисгармонии.

Разошлись мы в пятом часу.

Первым поднялся Антони Бланш. Он галантно и сердечно простился с каждым по очереди. Себастьяну он сказал:

– М-мой милый, я хотел бы утыкать вас стрелами, как подушечку для булавок.

А меня заверил:

– Это просто изумительно, что Себастьян вас откопал. Где вы таитесь? Вот я доберусь до вашей норы и выкурю вас оттуда, как с-с-старого г-г-горностая.

Вскоре после него ушли и остальные. Я хотел было раскланяться вместе с ними, но Себастьян сказал:

– Выпьем еще немного куантро. – И я остался.

Позже он объявил:

– Я должен идти в Ботанический сад.

– Зачем?

– Посмотреть плющ.

Дело показалось мне достаточно важным, и я пошел вместе с ним. Под стенами Мертона он взял меня под руку.

– Я ни разу не был в Ботаническом саду, – признался я.

– О Чарльз, сколько вам еще предстоит увидеть! Там красивая арка и так много разных сортов плюща, я даже не подозревал, что их столько существует. Не знаю, что бы я делал без Ботанического сада.

Когда я в конце концов очутился опять у себя и нашел свою квартиру точно такой же, какой оставил ее утром, я ощутил в ней странную безжизненность, которой не замечал прежде. В чем дело? Все, кроме желтых нарциссов, казалось ненастоящим. Может быть, причина в экране? Я повернул его к стене. Стало немного лучше.

Это был конец экрана. Лант всегда его недолюбливал и через день или два отнес в какую-то таинственную каморку под лестницей, где у него хранились тряпки и ведра.

Тот день положил начало моей дружбе с Себастьяном – вот как получилось, что роскошным июньским утром я лежал рядом с ним в тени высоких вязов и провожал взглядом облачко дыма, срывающееся с его губ и тающее вверху среди ветвей.

Потом мы поехали дальше и через час проголодались. Мы остановились в деревенской гостинице, которая была также фермерским домом, и позавтракали яичницей с ветчиной, солеными орехами и сыром и выпили пива в затененной комнате, где в полумраке тикали старинные часы, а в нерастопленном очаге спала кошка.

Поев, мы продолжили путь и задолго до вечера прибыли к месту нашего назначения: витая чугунная решетка ворот на краю деревенской улицы, две классически одинаковые башенки, аллея, еще одни ворота, просторный парк, поворот на подъездную аллею – и вдруг перед нами развернулся совершенно новый, скрытый от посторонних взглядов ландшафт. Отсюда начиналась восхитительная зеленая долина, и в глубине ее, в полумиле от нас, залитые предвечерним солнцем, серо-золотые в зеленой сени, сияли колонны и купола старинного загородного дома.

– Ну? – спросил Себастьян, остановив автомобиль. Еще дальше, позади дома, виднелись нисходящие ступени водной глади, и со всех сторон, охраняя и пряча, его обступали плавные холмы. – Ну как?

– Вот бы где жить! – вырвалось у меня.

– Вам надо посмотреть цветники у фасада и фонтан. – Он наклонился и включил скорость. – Здесь живет наша семья.

Даже тогда, захваченный чудесным зрелищем, я ощутил на мгновение, словно ветер шелохнул тяжелые занавеси, зловещий холодок от этих его слов: не «это мой дом», а «здесь живет наша семья».

– Не беспокойтесь, – продолжал он, – их никого нет. Вам не придется с ними знакомиться.

– Но мне бы этого хотелось.

– Ну, как бы то ни было, их все равно нет. Они в Лондоне. – Мы объехали дом и очутились в боковом дворике. – Все заперто, войдем отсюда. – Мы поднялись по каменным ступеням заднего крыльца и прошли под крепостными сводами коридоров людской части дома. – Я хочу познакомить вас с няней Хокинс. Мы для

этого и приехали. – И мы пошли вверх по тщательно вымытой деревянной лестнице, потом по каким-то коридорам, вдоль которых строго посредине тянулась узкая шерстяная дорожка, и по другим коридорам, застланным линолеумом, минуя несколько лестничных клеток поменьше и ряды желто-красных пожарных ведер, поднялись еще по одной лестнице, запирающейся вверху решетчатыми створками, и очутились наконец в детской, расположенной под самой крышей, в центре главного здания.

Няня Себастьяна сидела у раскрытого окна; перед нею был фонтан, пруды, беседка и, перечеркнув дальний склон, сверкал обелиск; разжатые руки ее покоились на коленях, между ладонями лежали четки; она спала. Утомительная работа в молодости, непререкаемый авторитет в зрелые годы, покой и довольство в старости – все запечатлелось на ее морщинистом безмятежном лице.

– Вот так сюрприз, – сказала она, просыпаясь.

Себастьян поцеловал ее.

– А это кто? – спросила она, глядя на меня. – Что-то я его не помню.

Себастьян представил нас друг другу.

– Вот кстати приехали. Как раз Джулия здесь. В городе у них столько хлопот! А без них здесь скучно. Одна только миссис Чэндлер да две девушки и старый Берт. А потом они уезжают на курорт, да еще в августе здесь котел менять будут, вы собираетесь в Италию к его светлости, остальные по гостям, глядишь, раньше октября здесь никого и не жди. Да ведь должна же и Джулия получить все удовольствия, что и остальные барышни, хотя зачем это придумали уезжать в Лондон в самую летнюю пору, когда сады в цвету, никогда не могла понять. Прошлый вторник был здесь отец Фиппс, я так ему прямо и сказала, – заключила она, словно тем самым ее суждение оказалось освящено его авторитетом.

– Ты говоришь, Джулия здесь?

– Да, голубчик, вы, верно, с ней разминулись. Она у Консервативных женщин. Должна была с ними заняться ее светлость, но ей что-то неможется. Джулия долго там не пробудет, только произнесет приветствие и уедет, еще до чая.

– Боюсь, мы с ней опять разминемся.

– А вы покуда еще не уезжайте, голубчик, то-то она удивится, когда вас увидит, хотя к чаю ей все-таки лучше бы остаться, я ей так и сказала, ведь Консервативные женщины ради этого и собираются. Ну а какие у вас новости? Прилежно ли вы занимаетесь?

– Боюсь, что не очень, няня.

– Ну конечно, целые дни играете в крикет, как ваш брат. Но он все же выбирал и для занятий время. С самого Рождества его здесь не было, теперь, надо полагать, скоро приедет на аграрную выставку. Видели вы, что в газетах про Джулию напечатано? Это она сама мне привезла. Конечно, она-то и не того еще заслуживает, но написано очень даже хорошо: «Прелестная дочь, которую леди Марчмейн вывозит в этом сезоне… столь же остроумна, сколь и хороша собой… пользуется самым большим успехом». Ну что ж, все это чистая правда, хотя ужасно жаль, что она отрезала волосы; такие были чудесные волосы, совсем как у ее светлости. Я сказала отцу Фиппсу, что, по-моему, это противоестественно. А он говорит: «Монахини стригутся». А я говорю: «Надеюсь, вы не хотите сделать монахиню из нашей леди Джулии? Подумать только!»

Они с Себастьяном продолжали разговор. Уютная комната имела необычную форму, отвечающую изгибам центрального купола. Узор на обоях состоял из лент и роз. В углу дремала лошадка-качалка, над камином висела олеография Иисусова сердца, пустой очаг скрывали связки сухого камыша, а на комоде была аккуратно разложена целая коллекция подарков, привезенных няне в разное время ее детьми: раковины и куски лавы, тисненая кожа, крашеное дерево, фарфор, мореный дуб, кованое серебро, синий флюорит, алебастр, кораллы – сувениры многочисленных каникулярных поездок.

Спустя какое-то время няня сказала:

– Позвоните, голубчик, мы выпьем вместе чаю. Обычно я спускаюсь к миссис Чэндлер, но сегодня мы будем пить чай здесь. Моя прежняя девушка уехала в Лондон вместе со всеми. А новая только что из деревни. Ничего не знала и не умела поначалу, но делает успехи. Позвоните.

Но Себастьян сказал, что нам пора уезжать.

– А как же мисс Джулия? Она, когда узнает, ужасно расстроится. Вот бы для нее был сюрприз!

– Бедная няня, – сказал Себастьян, когда мы вышли. – Ей очень скучно живется. Я всерьез подумываю взять ее жить к себе в Оксфорд, только она все время будет требовать, чтобы я ходил в церковь. Нам надо торопиться, пока не возвратилась моя сестра.

– Кого вы стыдитесь, ее или меня?

– Самого себя, – серьезно ответил Себастьян. – Я не хочу, чтобы вы знакомились с моими родными. Они все такие немыслимо обаятельные. Всю мою жизнь они у меня все отбирали. Из-за этого их обаяния. Стоит только вам попасть к ним в лапы, и они сделают вас своим другом, а не моим. А я этого не хочу.

– Ну хорошо, – сказал я. – Я удовлетворен. Но может быть, мне будет позволено осмотреть дом?

– Я же сказал, все заперто. Мы приехали навестить няню. В тезоименитство королевы Александры доступ открыт, цена один шиллинг. Ну ладно, пойдемте, если вам так хочется.

Через обитую сукном дверь он провел меня по темному коридору с лепным сводчатым потолком и золотым карнизом, почти неразличимым во мраке; затем, распахнув тяжелые резные двери красного дерева, ввел меня в высокий полутемный зал. Свет просачивался только сквозь щели ставен. Одну из них Себастьян, подняв щеколду, отодвинул, и мягкий предвечерний свет хлынул внутрь, заливая голый пол, два одинаковых мраморных скульптурных камина, высокий купол потолка, покрытый фресками, изображающими античных богов и героев, зеркала в золотых фигурных рамах, пилястры из искусственного мрамора и островки зачехленной мебели. Это был не более как мимолетный взгляд, какой удается иногда бросить из проезжающего автобуса в окно освещенного бального зала, – в следующее мгновение Себастьян закрыл ставню.

– Ну вот, – сказал он. – В таком роде.

У него заметно испортилось настроение с тех пор, как мы пили вино под нашими вязами, а потом резко свернули по аллее, и он спросил: «Ну как?»

– Сами видите, смотреть совершенно нечего. Когда-нибудь я покажу вам две-три хорошенькие вещички. Но только не сейчас. Впрочем, есть еще часовня – надо вам на нее взглянуть. Она в стиле модерн.

Последний архитектор, приложивший руку к Брайдсхеду, построил колоннаду и два боковых флигеля. Один из них и был часовней. Мы вошли в нее через публичный притвор, другая дверь вела прямо в дом; Себастьян окунул концы пальцев в чашку со святой водой, перекрестился и встал на колени; я последовал его примеру.

– Зачем вы это сделали? – раздраженно спросил он.

– Из вежливости.

– Если ради меня, то совершенно напрасно. Вы хотели смотреть, вот и смотрите.

Весь старый интерьер был распотрошен и наново декорирован в духе последнего десятилетия девятнадцатого века. Ангелы в длинных цветастых мантиях, вьющиеся розы, усеянные цветами луга, резвящиеся ягнята, библейские тексты, выведенные кельтской вязью, святые в рыцарских латах покрывали стены замысловатыми узорами ярких холодных тонов. У стены стоял резной триптих из светлого дуба, которому нарочно был придан вид лепнины. Светильник в алтаре и все металлические детали были из бронзы, покрытой ручной чеканкой так густо, что ее поверхность напоминала старую сморщенную кожу; на ступенях алтаря лежал ковер цвета луговой травы с белыми и золотыми ромашками.

– Ух ты! – сказал я.

– Это папин свадебный подарок маме. А теперь, если вы насмотрелись, идемте.

По аллее навстречу нам проехал закрытый «роллс-ройс», за рулем сидел шофер в ливрее, а сзади мелькнула девическая фигурка, и кто-то посмотрел через окно автомобиля нам вслед.

– Джулия, – сказал Себастьян. – Чуть было не попались.

Потом мы остановились поболтать с каким-то велосипедистом.

«Это старина Бэт», – объяснил Себастьян – а затем выехали из ворот, обогнули башенку и пустились по шоссе в обратный путь к Оксфорду.

– Простите меня, – сказал Себастьян через некоторое время. – Боюсь, я был нелюбезен с вами сегодня. Брайдсхед часто оказывает на меня такое действие. Но я должен был познакомить вас с няней.

«Зачем?» – подумал я, но ничего не сказал. Жизнь Себастьяна была подчинена целому кодексу подобных необходимостей: «Мне непременно нужна оранжевая пижама», «Я не могу встать с кровати, пока солнце не дойдет до моего окна», «Я обязательно должен сегодня выпить шампанского!»

– А на меня он оказал действие прямо противоположное, – только заметил я.

Себастьян довольно долго хранил молчание, потом обиженно сказал:

– Я же не расспрашиваю о вашей семье.

– И я не расспрашиваю.

– Но у вас вид заинтригованный.

– Естественно. Вы так загадочно молчите о ней.

– Я думал, что обо всем молчу загадочно.

– Пожалуй, меня действительно занимают чужие семьи – видите ли, сам я плохо знаю, что такое семья. Мы только двое с отцом. Какое-то время за мной приглядывала тетка, но отец прогнал ее за границу. А мама погибла на войне.

– О… как необыкновенно.

– Она была в Сербии с Красным Крестом. Отец с тех пор не совсем в себе. Живет в Лондоне один как сыч и коллекционирует какую-то дребедень.

Себастьян сказал:

– Вы и не подозреваете, от чего вы избавлены. А нас уйма. Можете посмотреть в Дебретте.

Он снова повеселел. Чем дальше отъезжали мы от Брайдсхеда, тем полнее освобождался он от своей подавленности – от какой-то тайной нервозности и раздражительности, которые им там владели. Солнце светило на шоссе прямо нам в спину, мы ехали, словно догоняя собственную тень.

– Сейчас половина шестого. К обеду мы как раз доберемся до Годстоу, потом завернем и выпьем в «Форели», оставим Хардкаслу его машину и вернемся пешком по берегу. Ведь верно, так будет лучше всего?

Вот мой подробнейший отчет о первом кратком посещении Брайдсхеда; мог ли я знать тогда, что память о нем вызовет слезы на глазах пожилого пехотного капитана?

Глава вторая

На исходе летнего семестра кузен Джаспер удостоил меня последним визитом и великой ремонстрацией. Накануне я сдал последнюю экзаменационную работу по новейшей истории и был свободен от занятий; темный костюм Джаспера в сочетании с белым галстуком красноречиво свидетельствовал о том, что у моего кузена, напротив, сейчас самые жаркие денечки, и на лице у него было усталое, но не умиротворенное выражение человека, сомневающегося в том, что он сумел показать себя наилучшим образом в вопросе о дифирамбике Пиндара. Долг, и только долг, привел его в тот день ко мне, хотя лично ему это было крайне неудобно – и мне, надо сказать, тоже, ибо он застал меня в дверях, я торопился сделать последние распоряжения в связи со званым ужином, который давал в тот вечер. Это должен был быть ужин из серии мероприятий, предназначенных умилостивить Хардкасла, чей автомобиль мы с Себастьяном оставили на улице и

тем навлекли на него серьезные неприятности с прокторами.

Джаспер отказался сесть: он пришел не для дружеской беседы; он встал спиной к камину и начал говорить со мной, по его собственному выражению, «как дядя с племянником».

– За последнюю неделю или две я несколько раз пытался с тобой увидеться. Признаться, у меня даже возникло ощущение, что ты меня избегаешь. И если это так, Чарльз, то ничего удивительного я в этом не нахожу.

Ты, вероятно, считаешь, что я лезу не в свое дело, но я в каком-то смысле за тебя отвечаю. Ты не хуже моего знаешь, что после… после войны твой отец несколько утратил связь с жизнью и живет как бы в собственном мире. Не могу же я сидеть сложа руки и смотреть, как ты совершаешь ошибки, от которых тебя могло бы оградить вовремя сказанное слово предостережения.

На первом курсе все делают ошибки. Это неизбежно. Я сам чуть было не связался с совершенно невозможными людьми из Миссионерской лиги, они в летние каникулы организовали миссию для сборщиков хмеля, но ты, мой дорогой Чарльз, сознательно или по неведению, не знаю, угодил со всеми потрохами в самое дурное общество, какое есть в университете. Ты, может быть, думаешь, что, живя на частной квартире, я не вижу, что делается в колледже, зато я слышу. И слышу, пожалуй, даже слишком много. В «Обеденном клубе» я по твоей вине вдруг сделался предметом насмешек. К примеру, этот тип, Себастьян Флайт, с которым ты так неразлучен. Может быть, он и неплох, не знаю. Его брат Брайдсхед был человек положительный. Хотя этот твой приятель, на мой взгляд, держится престранно, и он вызывает толки. Правда, у них вся семья странная. Ведь Марчмейны с начала войны живут врозь. Это всех страшно поразило, их считали такой любящей четой, но он вдруг в один прекрасный день уехал со своим полком во Францию и так с тех пор и не вернулся. Словно погиб на войне. А она католичка, поэтому не может получить развода, вернее, не хочет, я так понимаю. В Риме за деньги можно получить что угодно, а они феноменально богаты. Флайт, может быть, и неплох, допускаю, но Антони Бланш – для этого человека нет и не может быть абсолютно никаких оправданий.

– Мне и самому он не особенно нравится, – сказал я.

– Но он постоянно вертится здесь, и в колледже этого не одобряют. Его здесь терпеть не могут. Вчера его опять окунали. Ни один из твоих теперешних приятелей не пользуется у себя в колледже ни малейшим весом, а это самый верный показатель. Они воображают, что раз они могут сорить деньгами, значит, им все дозволено.

Кстати, и об этом. Мне неизвестно, какое содержание назначил тебе дядюшка, но, держу пари, ты расходуешь в два раза больше. Вот это все… – Он обвел рукой обступившие его признаки расточительности. Он был прав: моя комната сбросила свое строгое зимнее одеяние и, пренебрегая постепенностью, сменила его на более пышные одежды. – Оплачено ли это? (Сотня португальских сигар в богатой коробке на столике.) Или вот это? (Кипа новых книг легкого содержания.) Или это? (Хрустальный графин с бокалами.) Или этот вопиющий предмет? (Человеческий череп, приобретенный совсем недавно на медицинском факультете, а теперь лежащий в широкой вазе с розами и являющийся в настоящее время главным украшением моего стола; на лобной кости был выписан девиз: «Et in Arcadia ego»).

– О да, – сказал я, радуясь возможности отвести хоть одно обвинение. – За череп потребовали наличными.

– Науками ты, конечно, не занимаешься. Это, правда, не так уж и важно, особенно если ты предпринимаешь в интересах своей карьеры что-то другое, но предпринимаешь ли ты что-нибудь? Выступал ли ты хоть раз в Студенческом союзе или в каком-нибудь клубе? Связан ли с каким-нибудь журналом? Приобрел ли по крайней мере положение в Университетском театральном обществе? А твоя одежда! – продолжал мой кузен. – Когда ты приехал, я, помнится, посоветовал тебе одеваться, как в загородном доме. Сейчас на тебе такой костюм, словно ты собрался то ли в театр смотреть утренний спектакль, то ли за город выступать в самодеятельном хоре.

И потом вино. Никто не скажет худого слова, если студент слегка напьется раз или два в семестр. Более того, в некоторых случаях это необходимо. Но тебя, как я слышал, постоянно встречают пьяным средь бела дня.

Он выполнил свой тяжкий долг и перевел дух. Предэкзаменационные заботы сразу же снова легли ему на сердце.

– Мне очень жаль, Джаспер, – сказал я. – Я понимаю, что тебе это может причинять затруднения, но мне, к несчастью, нравится мое дурное общество. И мне нравится напиваться средь бела дня, и хотя я еще не истратил денег вдвойне против моего содержания, до конца семестра, безусловно, истрачу. А в это время дня я обычно выпиваю бокал шампанского. Не составишь ли мне компанию?

Кузен Джаспер признал себя побежденным и, как я узнал впоследствии, написал о моих излишествах своему отцу, который, в свою очередь, написал моему отцу, а он не придал этому значения и не предпринял никаких мер, отчасти потому, что уже без малого шестьдесят лет питал к брату неприязнь, а отчасти потому, что, как сказал Джаспер, после смерти моей матери жил теперь как бы в собственном мире.

Так Джаспер описал в общих чертах мое житье в первый год студенчества. К этому можно прибавить еще кое-какие подробности в том же духе.

Я еще раньше сговорился провести пасхальные каникулы с Коллинзом, и хотя без колебаний нарушил бы слово при первом же знаке Себастьяна, однако от него знака не последовало, и соответственно мы с Коллинзом провели две недели в Равенне – поездка весьма полезная в познавательном отношении и отнюдь не обременительная для кармана. Пронизывающий ветер с Адриатики гулял среди величественных гробниц. В номере гостиницы, рассчитанном на более теплую погоду, я писал длинные письма Себастьяну и ежедневно заходил на почту за ответами. Он прислал мне два, с разными обратными адресами и без каких-либо определенных сведений о себе, поскольку писал в стиле отстраненно-фантастическом («…У мамы и двух пажей-поэтов три насморка, поэтому я приехал сюда. Завтра праздник святого Никодима Тиатирского, который принял мученическую смерть от гвоздей, каковыми ему прибили к темени кусок овчины, и потому почитается патроном плешивцев. Скажите это Коллинзу, который, я уверен, облысеет раньше нас. Здесь чересчур много людей, но у одного – хвала небу! – в ухе слуховая трубка, и от этого у меня хорошее настроение. А теперь бегу – я должен поймать рыбу. Слать ее вам слишком далеко, потому я сохраню хребет…»), и от этих писем я только еще больше мрачнел. Зато Коллинз делал заметки для своей будущей работы о преимуществах фотографических снимков со знаменитых мозаик над оригиналами. Здесь было посеяно семя будущего урожая всей его жизни. Много лет спустя, когда вышел в свет первый увесистый том его по сей день не завершенного труда о византийском искусстве, я с умилением прочел в списке

лиц, коим приносилась авторская признательность, свою фамилию «…Чарльзу Райдеру, чье всевидящее око помогло мне впервые увидеть мавзолей Галлы Плацидии и Сан-Витале».

Я часто думаю, что, если бы не Себастьян, я, возможно, пошел бы по той же дороге, что и Коллинз, и тоже крутил бы всю жизнь водяное колесо истории. Отец мой в юности держал экзамен в колледж Всех Усопших и в те годы жаркой конкуренции провалился; позже к нему пришли другие успехи и почести, но та первая неудача наложила печать на его душу, а через него и на мою, так что я поступил в университет с твердым ошибочным убеждением, что именно в этом естественная цель всякого разумного существования. Я бы, без сомнения, тоже провалился, но, провалившись здесь, возможно, проник бы в какие-нибудь менее высокие академические круги. Возможно, и все же, думается мне, маловероятно, ибо горячий ключ анархии, зарождаясь в глубинах, где не было ничего твердого, вырывался на солнце, играя всеми цветами радуги, и силе его порыва не могли противостоять даже скалы.

Как бы там ни было, но те пасхальные каникулы составили недлинный ровный участок на моем головокружительном пути под откос, о котором говорил мой кузен Джаспер. Впрочем, вел ли этот путь вниз или, может быть, вверх? Мне кажется, что с каждым днем, с каждой приобретенной взрослой привычкой я становился моложе. Я провел одинокое детство, обобранное войной и затененное утратой; к холоду сугубо мужского английского отрочества, к преждевременной солидности, насаждаемой школами, я добавил собственную хмурую печаль. И вот теперь, в тот летний семестр с Себастьяном, я словно получил в подарок малую толику того, чего никогда не знал, – счастливого детства. И хотя игрушками этого детства были шелковые сорочки, ликеры, сигары, а его шалости значились на видном месте в реестрах серьезных прегрешений, во всем, что мы делали, была какая-то младенческая свежесть, радость невинных душ. В конце семестра я сдал курсовые экзамены – это было необходимо, если я хотел остаться в Оксфорде, и я их сдал, на неделю запершись от Себастьяна в своих комнатах, где допоздна просиживал за столом с чашкой холодного черного кофе и тарелкой ржаного печенья, набивая себе голову так долго остававшимися в небрежении текстами. Я не помню из них сегодня ни единого слова, но другие, более древние познания, которые я в ту пору приобрел, останутся со мною в том или ином виде до моего смертного часа.

«Мне нравится это дурное общество и нравится напиваться средь бела дня» – тогда этого было довольно. Нужно ли прибавлять что-нибудь сейчас?

Когда теперь, через двадцать лет, я оглядываюсь назад, я не нахожу ничего, что мне хотелось бы изменить или отменить совсем. Против петушиной взрослости кузена Джаспера я мог выставить бойца не хуже. Я мог бы объяснить ему, что наши проказы подобны спирту, который смешивают с чистым соком винограда, – этому крепкому, таинственному составному веществу, которое одновременно придает вкус и задерживает созревание вина, делая его на какое-то время непригодным для питья, так что оно должно выдерживаться в темноте еще долгие годы, покуда наконец не придет его срок быть извлеченным на свет и поданным к столу.

Я мог бы объяснить ему также, что знать и любить другого человека – в этом и есть корень всякой мудрости. Но меня нисколько не тянуло вступать с ним в препирательство, я просто сидел и смотрел, как он, прервав свою битву с Пиндаром, облаченный в темный костюм, белый галстук и студенческую мантию, произносит передо мною грозные речи, меж тем как я потихоньку наслаждаюсь запахом левкоев, цветущих у меня под окном. У меня была тайная и надежная защита, талисман, который носят на груди и, нащупывая, крепко сжимают в минуту опасности. Вот я и сказал ему то, что было, между прочим, совершенной неправдой – будто в этот час я обычно выпиваю бокал шампанского, – и пригласил его составить мне компанию.

На следующий день после великой ремонстрации Джаспера я получил еще одну – в совсем других выражениях и из совершенно неожиданного источника.

В течение всего семестра я виделся с Антони Бланшем несколько чаще, чем это вызывалось моим к нему расположением. Я жил среди его знакомых, но наши встречи с ним происходили по его инициативе, а не по моей, ибо я относился к нему с некоторым испугом.

Он был едва ли старше меня годами, но казался умудренным опытом, как Вечный Жид. К тому же он был кочевник, человек без национальности. В детстве, правда, из него попытались было сделать англичанина, и он провел два года в Итоне, но затем, в разгар войны, презрев вражеские подводные лодки, уехал к матери в Аргентину; и к свите, состоящей из лакея, горничной, двух шоферов, болонки и второго мужа, прибавился умненький, нахальный мальчик. С ними он изъездил вдоль и поперек весь мир, день ото дня совершенствуясь в пороках, точно Хогартов паж. Когда война кончилась, они вернулись в Европу – в гостиницы и меблированные виллы, на воды, в казино и на пляжи. В возрасте

пятнадцати лет он на пари переоделся девушкой и играл за большим столом в Жокейском клубе Буэнос-Айреса; он обедал с Прустом и Жидом, был в близких отношениях с Кокто и Дягилевым; Фербэнк дарил ему свои романы с пламенными посвящениями; он послужил причиной трех непримиримых фамильных ссор на Капри; занимался черной магией в Чефалу; лечился от наркомании в Калифорнии и от эдипова комплекса в Вене. Мы часто казались детьми в сравнении с Антони – часто, но не всегда, ибо он был хвастуном и задирой, – а эти свойства мы успели изжить в наши праздные отроческие годы на стадионе и в классе; его пороки рождались не столько погоней за удовольствиями, сколько желанием поражать, и при виде его изысканных безобразий мне нередко вспоминался уличный мальчишка в Неаполе, с откровенно непристойными ужимками прыгавший перед изумленными английскими туристами; когда он повествовал о вечере, проведенном в тот раз за игорным столом, можно было представить себе, как он украдкой косился на убывавшую груду фишек с той стороны, где сидел его отчим; в то время как мы катались в грязи на футбольном поле или объедались свежими плюшками, Антони на субтропических пляжах натирал ореховым маслом спины увядающих красавиц и потягивал аперитив в фешенебельных барах, и потому дикарство, уже усмиренное в нас, еще бушевало в его груди. И он был жесток мелочной, мучительной жестокостью маленьких детей и бесстрашен, точно первоклассник, который бросается, сжав кулачки и пригнув голову, на великовозрастного верзилу. Он пригласил меня на ужин, и я с некоторым смущением обнаружил, что ужинать мы будем вдвоем, он и я.

– Мы поедем в Тем, – объявил он мне. – Там есть восхитительный ресторанчик, по счастью, не во вкусе «Буллинг-дона». Будем п-пить рейнвейн и воображать с-с-себя… где? Во всяком случае, не среди этих р-р-резвящихся п-п-приказчиков. Но сначала выпьем аперитив.

У «Джорджа» в баре он заказал четыре коктейля «Александр». И, выставив в ряд перед собою стаканы, так громко причмокивал, что привлек к себе негодующие взоры всех присутствующих.

– Вы, мой любезный Чарльз, вероятно, предпочли бы херес, но, увы, хереса вы не получите. Восхитительное зелье, не правда ли? Вам не нравится? Тогда я выпью и ваши. Раз, два, три-с, по дорожке вниз. Ах, как эти студенты на нас оглядываются!

И он повел меня туда, где ждал нанятый автомобиль.

– Надеюсь, там студентов не будет. У меня с ними в настоящее время отношения несколько натянутые. Вы не слышали, как они обошлись со мною в прошлый вторник? Очень невежливо. К счастью, на мне была моя самая старая пижама и вечер был удушающе жаркий, не то бы я всерьез рассердился.

У Антони была привычка, разговаривая, придвигать лицо к собеседнику, на меня дохнуло молочно-сладким запахом коктейля, и я поскорее отодвинулся.

– Вообразите меня, мой милый, одиноко сидящим за книгой. Накануне я купил одну довольно отталкивающую книгу под названием «Шутовской хоровод», и мне необходимо было прочитать ее к воскресенью, потому что я собирался к Гарсингтону и знал, что там обязательно все будут говорить о ней, а отвечать, что ты не читал последнего модного романа, когда ты его в самом деле не читал, – это банально. Можно было бы, видимо, просто не ездить к Гарсингтону, но такой выход пришел мне в голову только сейчас. А потому, мой милый, я поужинал омлетом, персиком и бутылкой минеральной воды, облачился в пижаму и приступил к чтению. Должен признаться, что мысли мои блуждали, но я продолжал переворачивать страницы и любовался угасанием дня, а это у нас на Пекуотерском дворике, право же, зрелище впечатляющее; с приближением темноты кажется, что камни положительно рассыпаются прямо у вас на глазах. Это напомнило мне облупленные фасады старого порта в Марселе. И вдруг меня потревожили вопли и улюлюканье небывалой оглушительности, и я увидел внизу, на нашем дворике, человек двадцать ужасных юнцов. Как бы вы думали, что они кричали? «Антони Бланша! Антони Бланша!» Такое громкое общественное признание. Ну, я понял, что на сегодня с мистером Хаксли покончено, и должен сказать, что я как раз достиг той степени скуки, когда любое отвлечение – благо. Их завывания меня слегка взволновали, но, знаете ли, чем громче они кричали, тем больше робели. Слышны были возгласы: «Где Бой?», «Бой Мулкастер с ним знаком!», «Пусть Бой его приведет!». Вы, конечно, знаете этого бодрого юношу Боя Мулкастера. Он постоянно вертится возле милейшего Себастьяна. Это типичный английский лорд, каким его представляем себе мы, латиняне. Сплошная импозантность. Кумир всех лондонских девиц. Говорят, он с ними так высокомерен. Со страху, мой милый, просто со страху. Дубина стоеросовая этот Мулкастер, и к тому же еще хам. Он приезжал на Пасху в Ле-Туке, и каким-то необъяснимым образом вышло так, что я пригласил его погостить. Представьте, он проиграл в карты мизерную сумму и считал, что за это я обязан всюду за него платить; так вот, Мулкастер находился в этой толпе, я видел сверху его нескладную фигуру и слышал, как он говорил: «Пустое дело. Его нет дома. Может, пойдем лучше выпьем?» Тогда я высунул голову в окно и

позвал: «Добрый вечер, Мулкастер, пиявка и приживальщик! Что же вы прячетесь среди этих юнцов? Вы, наверное, пришли отдать мне триста франков, которые я одолжил вам на ту жалкую шлюху, что вы подцепили в Казино? Это была нищенская плата за ее труды, Мулкастер, и какие труды! Подымитесь же сюда и возвратите мне долг, жалкий хулиган!»

Это, мой милый, немного их расшевелило, и они, топоча, ринулись вверх по лестнице. Человек шесть ворвались ко мне в комнату, остальные топтались и пускали слюни за дверью. Мой милый, что у них был за вид! Они явились прямо со своего идиотского клубного ужина и все были в цветных фраках – наподобие ливреи. «Мои милые, – сказал я им, – вы похожи на ватагу очень уж разгулявшихся лакеев». Тогда один из них, довольно аппетитный юноша, обвинил меня в противоестественном грехе. «Мой милый, – ответил я, – я, может быть, и извращен, но не ненасытен. Возвращайтесь, когда будете один». Тогда они стали крайне неприятно ругаться, и я вдруг тоже разозлился. Право, я подумал, после всего, что было, когда герцог де Венсанн (старик Арман, разумеется, а не Филип) вызвал меня в семнадцать лет на дуэль из-за сердечного дела (и гораздо больше, чем просто сердечного, могу вас уверить) с герцогиней (Стефани, разумеется, а не старушкой Поппи), – терпеть теперь подобную наглость от этих прыщавых пьяненьких девственников. Я оставил легкий, шутливый тон и позволил себе сказать им несколько обидных слов. Тогда они начали повторять: «Хватай его. Тащи его к Меркурию!» А у меня, как вы знаете, есть две скульптуры Бранкузи и несколько хорошеньких вещичек, которые я ценю, и я не мог допустить, чтобы они буянили, поэтому я миролюбиво сказал: «Мои очаровательные недоумки, если бы вы хоть самую малость смыслили в сексуальной психологии, вы бы понимали, что мне будет более чем приятно очутиться у вас в руках, толстомясые вы юнцы. Это доставит мне наслаждение самого предосудительного свойства. Поэтому того, кто из вас готов быть моим партнером в удовольствии, прошу меня схватить. С другой стороны, если вами самими движет менее изученная и не столь распространенная сексуальная потребность видеть меня купающимся, сделайте милость, любезные олухи, тихо и мирно последуйте за мной к фонтану».

И знаете, у них был довольно идиотский вид, когда я им это сказал. Я спустился с ними во дворик, но ни один из них ко мне даже не приблизился. Я забрался в фонтан, купание, поверьте, меня приятным образом освежило, я плескался и принимал разные позы, пока наконец они с унылым видом не побрели прочь, и я слышал, как Бой Мулкастер сказал: «Все-таки мы его окунули под Меркурия!» И знаете, Чарльз, именно это они будут говорить и через тридцать лет. Когда у них у всех будут костлявые курицы-жены и кретины сыновья, такие же скоты,

как их папаши, они, напившись все в том же клубе на том же ежегодном ужине, облаченные все в те же цветные фраки, будут все так же говорить, лишь только кто-нибудь упомянет мое имя: «Да-да, мы один раз окунули его под Меркурия», а их скотницы-дочери будут хихикать и думать, что, мол, вот ведь какой баловник были папаша когда-то, жаль, он теперь такой неинтересный. O, la fatigue du Nord![5 - О, северная скука! (фр.)]

Насколько мне было известно, Антони уже приходилось и прежде принимать подобные ванны, но последний эпизод, как видно, произвел на него сильное впечатление, потому что за ужином он снова к нему вернулся.

– А вот вы не можете себе представить, чтобы подобная неприятность произошла с Себастьяном, верно?

– Верно, – сказал я. Представить себе этого я не мог.

– Да, у Себастьяна обаяние. – Он поднял к свету бокал с рейнвейном и повторил: – Бездна обаяния. Знаете, назавтра я зашел к Себастьяну. Думал позабавить его повестью о моих злоключениях. И что бы вы думали я там нашел, помимо его столь забавного игрушечного медведя? Боя Мулкастера и еще двоих его вчерашних дружков. Вид у них был совершенно идиотский, а С-с-себастьян, невозмутимый, как миссис Понсоби де Томкинс из «Панча», говорит: «Вы, конечно, знакомы с лордом Мулкастером», и эти кретины поспешили объяснить: «Ах, мы только зашли на минутку узнать, как поживает Алоизиус», потому что они находят игрушечного медведя таким же забавным, как и мы, или, скажем честно, самую чуточку более забавным, чем мы. Словом, они убрались. А я сказал: «С-с-себастьян, разве вы не знаете, что эти с-с-скользкие с-сикофанты нанесли мне вчера вечером оскорбление и, если бы не благоприятная погода, могли бы п-п-причинить мне сильную п-п-простуду?» На что он мне ответил: «Бедняги. Вероятно, они были пьяны». Да, он найдет для каждого доброе слово. У него ведь такое обаяние.

Я вижу, вас, мой милый Чарльз, он покорил совершенно. Ну что ж, это неудивительно. Конечно, вы знакомы с ним не так давно, как я. Я вместе с ним учился в школе. Вы не поверите, но тогда говорили, что он просто маленькая дрянь. Не все, понятно, а только некоторые злые мальчишки, которые его хорошо знали. В Итонском клубе, разумеется, он пользовался всеобщей любовью, и учителя его тоже обожали. Я думаю, все дело просто в зависти. Он всегда выходил сухим из воды. Всех остальных постоянно по самым

незначительным поводам самым жестоким образом били. Себастьяна – никогда. Он был единственным мальчиком в моем корпусе, которого вообще ни разу не били. Помню как сейчас, каким он был в пятнадцать лет. Ни единого пятнышка на коже, когда все остальные, естественно, страдали прыщами. Бой Мулкастер ходил положительно весь в золотухе. А Себастьян – нет. Или был у него один-единственный упрямый нарывчик на шее сзади? Да, пожалуй, один был. Нарцисс с единственным прыщиком. Мы с ним оба были католики и вместе ходили к мессе. Он столько времени проводил в исповедальне, что я диву давался, ведь он никогда не делал ничего дурного, ничего определенно дурного, во всяком случае, не получал наказаний. Возможно, он просто источал обаяние сквозь решетку исповедальни. Я оставил школу при обстоятельствах, бросавших на меня тень, как принято говорить, хотя, откуда пошло такое выражение, непонятно; по-моему, это весьма яркий и нежелательный свет, и процедура, предшествовавшая моему отъезду, включала несколько доверительных бесед с моим наставником. Я был весьма смущен, обнаружив, как хорошо осведомлен этот добрый старец. Ему были известны обо мне такие вещи, которых не знал никто – кроме разве Себастьяна. Это послужило мне уроком никогда не доверять добрым старцам – или, может быть, обаятельным школярам?

Возьмем еще одну бутылочку этого вина? Или чего-нибудь другого? Чего-нибудь другого, да? Скажем, старого доброго бургундского? Вот видите, Чарльз, мне известны ваши вкусы в любой области. Вам надо поехать со мной во Францию, мой милый, и попить тамошних вин. Мы поедем к сбору винограда. Я отвезу вас погостить к Венсаннам. Мы уже давно с ними в мире, а у герцога лучший винный погреб во Франции – у него и у князя де Портайона, к нему я вас тоже отвезу. Мне кажется, они вас позабавят, а от вас они, безусловно, будут без ума. Я хочу познакомить вас со всеми моими друзьями. Я рассказывал о вас Кокто, он горит нетерпением. Понимаете ли, мой милый Чарльз, вы представляете собою весьма редкое явление, которому имя – Художник. Да-да, не принимайте скромного вида. Под этой холодной, флегматичной английской наружностью вы – Художник. Я видел ваши рисунки, которые вы прячете у себя в спальне. Они изысканны. А вот вы, милый Чарльз, как бы это выразиться, вы не изысканны, отнюдь. Художникам как людям несвойственна изысканность. Изыскан я, Себастьян по-своему тоже, но Художник – это земной тип, волевой, целеустремленный, зоркий и в глубине души с-с-страстный, верно, Чарльз?

Но у кого пользуетесь вы признанием? На днях я разговаривал о вас с Себастьяном. «Чарльз – художник, – сказал я ему. – Он рисует, как молодой Энгр». И вы знаете, что ответил Себастьян? «Да-да, Алоизиус тоже очень недурно рисует, но, конечно, он гораздо современнее». Так обаятельно, так

забавно.

Конечно, те, у кого есть обаяние, в мозгах не нуждаются. Стефани де Венсанн четыре года назад покорила меня совершенно. Мой милый, я даже красил ногти на ногах тем же лаком, что и она. Я говорил ее словами, прикуривал сигарету, как она, и разговаривал по телефону совершенно ее голосом, так что герцог вел со мною длинные интимные беседы, принимая меня за нее. Это, главным образом, и натолкнуло его на столь старомодные мысли о пистолетах и шпагах. Мой отчим считал, что мне это послужит превосходным уроком. Он надеялся, что таким путем я изживу мои, как он выражался, «английские привычки». Бедняга, у него такие латиноамериканские взгляды. Так вот, я ни от кого ни разу не слышал о Стефани худого слова, исключая герцога, понятно; а ведь она, мой милый, женщина положительно безмозглая.

Увлеченный рассказом о старой любви, Антони забыл про свое заикание. Вспомнил он о нем в тот же миг, как был подан кофе с ликером.

– Настоящий з-з-зеленый шартрез, созданный еще до изгнания монахов. Стекая по языку, он пять раз меняет вкус. Словно глотаешь п-призрак. Вам хотелось бы, чтобы Себастьян был сейчас с нами? Ну разумеется, хотелось бы. А мне? П-право, не знаю. Как, однако, наши мысли настойчиво возвращаются к этой бутоньерке очарования. Вы, наверное, гипнотизируете меня, Чарльз. Я привожу вас сюда – удовольствие, мой милый, которое влетит мне в копеечку, – с единственной целью поговорить о самом себе и не говорю ни о чем, кроме Себастьяна. А это странно, потому что, в сущности, в нем нет ничего загадочного, загадочно только одно: как он умудрился родиться в такой зловещей семье.

Не помню, вы знакомы с их семейством? Едва ли он вас когда-нибудь допустит до знакомства с ними. Он слишком хорошо все понимает. Это люди, безусловно, страшные. Вам никогда не казалось, что в Себастьяне есть что-то чуточку страшное? Нет? Может быть, это мое воображение; просто временами он бывает с виду так похож на своих родных.

Во-первых, Брайдсхед. Существо архаическое, прямо из пещеры, замурованной тысячу лет. У него такое лицо, словно ацтекский скульптор попытался высечь портрет Себастьяна. Это ученый изувер, церемонный варвар, лама, отрезанный от мира ледниками, – можете считать как угодно. Потом Джулия. Вы знаете, какова она собой. Не знать этого невозможно. Ее фотографии появляются в

иллюстрированных газетах с постоянством рекламы «Пилюль Бичема». Безупречно прекрасное лицо женщины флорентийского Кватроченто; с такой внешностью любая пошла бы на сцену, любая, но не леди Джулия; она – великосветская красавица такого же толка, как… ну, скажем, как Стефани. И ни на йоту богемы. Всегда корректная, жизнерадостная, непринужденная. Собаки и дети ее обожают, другие женщины тоже; мой милый, она душегубка, хладнокровная, корыстная, хитрая и беспощадная. Может быть, в помыслах и кровосмесительница, не знаю. Вряд ли. Все, что ей нужно, – это власть. Следовало бы устроить специальный суд святой инквизиции и сжечь ее. Там есть, если не ошибаюсь, еще одна сестрица, ребенок. О ней пока ничего не известно, за исключением того, что недавно ее гувернантка потеряла рассудок и утопилась. По-видимому, прелестное дитя. Так что, сами понимаете, бедному Себастьяну, в сущности, ничего и не остается, как быть милым и обаятельным.

Но настоящая бездна отверзается, когда доходишь до родителей. Это такая чета, мой милый! «Как леди Марчмейн это удается?» – таков один из кардинальных вопросов века. Вы ее не видели? Очень, очень красивая женщина, никаких ухищрений, элегантные серебряные пряди в волосах, естественный очень бледный цвет лица, огромные глаза – просто диву даешься, какими большими они кажутся и как удачно просвечивают голубые жилки на веках, где всякой другой понадобилось бы наложить тени; жемчуга и несколько крупных, как звезды, бриллиантов – фамильные драгоценности в старинной оправе; и голос, мягкий, как молитва, и такой же властный. И – лорд Марчмейн, слегка, быть может, располневший, но о-очень импозантный, magnifico[6 - Великолепный (ит.).], сластолюбец, скучающий байронический тип, заразительно праздный, совсем не из тех, кто дает себя в обиду. И эта рейнхардовская монашенка, мой милый, просто изничтожила его – да-да, совершенно. Он нигде не решается показаться. Это последний в истории достоверный случай, когда человека в буквальном смысле изгнали из общества. Брайдсхед не хочет с ним видеться, барышням с ним видеться не дозволено, Себастьян, правда, к нему открыто ездит ввиду своей обаятельности. Но больше с ним никто знаться не желает. Да вот, не далее как в сентябре леди Марчмейн гостила в Венеции в палаццо Фольере. Сказать вам по правде, она была там самую чуточку смешна. К «Лидо» она, естественно, даже близко не подходила, а целыми днями разъезжала в гондоле по каналам с сэром Адрианом Порсоном – и такие позы, мой милый, просто мадам Рекамье; я как-то однажды ехал навстречу и переглянулся с гондольером из палаццо, который мне, естественно, знаком, – мой милый, как он мне подмигнул. Где бы она ни бывала, она всюду появлялась в эдаком полупрозрачном коконе, словно персонаж из кельтского фольклора или героиня Метерлинка, и каждый день ходила в церковь. А как вы знаете, Венеция –

единственный город в Италии, где в церковь ходить абсолютно не принято. Словом, она вызывала улыбки. И вдруг кто бы, вы думали, прибыл в город на яхте Молтонов? Несчастный лорд Марчмейн. Он заранее снял небольшое палаццо, но вы думаете его туда впустили? Лорд Молтон, не дав ему дух перевести, погрузил его вдвоем с лакеем в утлую лодчонку и в два счета отвез на пристань и посадил на триестский пароход. А он был даже без своей любовницы. В это время года она как раз уезжает отдыхать. Откуда им стало известно, что в городе леди Марчмейн, никто не знает. И все-таки лорд Молтон целую неделю ходил тише воды ниже травы, словно впал в высочайшую немилость. Да так оно и было. Принчипесса Фольере давала бал, и лорд Молтон не получил приглашения, ни он сам и никто из его гостей, даже де Паньозы. Как леди Марчмейн это удается? Она убедила свет, что лорд Марчмейн – чудовище. А что было на самом деле? Они прожили в браке лет пятнадцать, а потом лорд Марчмейн уехал на войну и не вернулся, вступив в связь с одной очень талантливой балериной. Таких случаев тысячи. Она отказалась дать ему развод, так как она, видите ли, очень набожна. И такие случаи бывали. Обычно сочувствие оказывалось на стороне неверного мужа, но лорду Марчмейну не было сочувствия. Можно подумать, что старый распутник избивал свою несчастную жену, обездолил ее и вышвырнул за дверь, что он потрошил, жарил и пожирал своих детей и наконец ударился в пляс, увитый гирляндами всех цветов Содома и Гоморры. А в действительности? Он родил с ней четырех прекрасных детей, отдал ей Брайдсхед и Марчмейн-Хаус на Сент-Джеймсской площади и денег сколько ее душеньке угодно, а сам сидит в белоснежной крахмальной манишке за столиком у Ларю с немолодой почтенной дамой – и все в самом что ни на есть респектабельном эдвардианском стиле. А она, между прочим, содержит при себе маленькую свиту бесправных, изможденных рабов, которыми пользуется исключительно для собственного удовольствия. Она сосет из них кровь. У Адриана Порсона плечи испещрены следами ее зубов – и это всем видно, когда он купается. А он, мой милый, был некогда величайшим, можно сказать единственным, поэтом нашего времени. Она выпила из него все соки, ничего не осталось. У нее есть еще человек пять или шесть, разного возраста и пола, которые как тени следуют за ней по пятам. Стоит ей однажды впиться в человека зубами, и он уже от нее не уйдет. Это ведьмовство, мой милый, другого объяснения нет.

Так что мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает немножко придурковат, ну, да ведь вы его и не вините, правда, Чарльз? При таком мрачном антураже что же ему еще оставалось, как не простота и обаяние? Тем более что на чердаке у него не очень-то богато. Этого мы не станем отрицать, как бы мы его ни любили, верно?

Признайтесь откровенно, слышали ли вы хоть раз, чтобы Себастьян сказал что-нибудь, что остается в памяти хотя бы на пять минут?

Знаете, его речь чем-то напоминает мне эту, довольно отвратительную, картину под названием «Мыльные пузыри». Разговор, как я его понимаю, подобен жонглированию. Взлетают шары, мячики, тарелки – вверх и вниз, туда и назад, колесом, кувырком, – обыкновенные, весомые вещи, которые искрятся в огнях рампы и падают с громким стуком, если их не подхватить. Но когда разговаривает наш дорогой Себастьян, кажется, будто это маленькие мыльные пузыри отрываются от старой глиняной трубки, летят куда попало, переливаясь радугой, и через секунду – пшик! – исчезают, и не остается ничего, ровным счетом ничего.

Потом Антони говорил о жизненном опыте, который полезен для художника, о понимании, критике и поддержке, которых он вправе ждать от друзей, о риске, на который он может идти ради богатства эмоций, и еще о чем-то в таком же духе, но я, охваченный внезапной сонливостью, перестал прислушиваться к его рассуждениям. Наконец мы поехали домой, и на Магдалинином мосту он снова вернулся напоследок к лейтмотиву нашего ужина:

– Ну-с, мой милый, я нисколько не сомневаюсь, что завтра, едва открыв глаза, вы побежите к Себастьяну и перескажете ему все, что я о нем говорил. В связи с чем я хочу сказать вам две вещи: это нисколько не повлияет на его отношение ко мне, а во-вторых, мой милый, – помяните мои слова, хотя я и так уже заговорил вас до обморока, – он сразу же переведет разговор на этого своего забавного игрушечного медведя. Покойной ночи. Желаю вам спать праведным сном.

Но я спал плохо. Сонный, я сразу бухнулся в постель, однако уже через час проснулся и больше не мог уснуть – меня мучила жажда, и непонятное волнение попеременно окатывало меня то холодом, то жаром. Я много выпил за ужином, но ни александровский коктейль, ни шартрез, ни «Шалость Мавродафны», ни даже то, что я просидел весь вечер в неподвижности и почти полном безмолвии, вместо того чтобы, как обычно, «спускать пары» в ребяческих развлечениях, не могли бы послужить причиной глубокой тоски, охватившей меня в ту мучительную ночь. Мне не снились кошмары, представляющие в зловещем искажении образы минувшего вечера. Я лежал с широко открытыми глазами и совершенно ясной головой. И только беззвучно повторял про себя слова Антони с

его интонацией, с его паузами и распевом, видя перед собой в темноте его бледное, освещенное свечами лицо, как оно маячило против меня за ресторанным столиком.

Один раз в эти ночные часы я встал и принес рисунки, хранившиеся у меня в гостиной, и долго сидел с ними у раскрытого окна. В университетском дворике было темно и тихо-тихо, только часы на башнях, пробуждаясь, вызванивали четверти над крутоверхими крышами колледжей. Я пил содовую воду, курил и томился, пока не стало светать и поднявшийся предутренний ветерок не загнал меня обратно я постель.

Когда я проснулся, в открытых дверях стоял Лант.

– Я дал вам отоспаться, – сказал он. – Я так решил, что вы не пойдете к общему причастию.

– И правильно решили.

– Первокурсники пошли чуть ли не все, и со второго и третьего курса тоже кое-кто пошел. И все из-за нового священника. Раньше ни о каком общем причастии не слыхали – просто святое причастие для желающих и службы – обедня и вечерня.

Было последнее воскресенье в семестре, последнее воскресенье в году. Проходя в ванную, я видел, как университетский двор заполняют выходящие из церкви студенты в мантиях и белых стихарях церковного хода. Когда я возвращался, они стояли группками, курили; среди прочих был и кузен Джаспер, прикативший из своей квартиры на велосипеде, чтобы не остаться в стороне.

Я шел по безлюдной Брод-стрит в маленькую чайную напротив Баллиоля, где обычно завтракал по воскресеньям. На всех колокольнях звонили, воздух был полон гуденьем колоколов, и солнце, перекидывая на открытых местах длинные узкие тени, легко развеяло страхи минувшей ночи. В чайной было тихо, как в библиотеке; несколько студентов-одиночек из Баллиоля и Святой Троицы – они были прямо в комнатных туфлях – подняли головы, когда я входил, но тут же снова зарылись в воскресные газеты. Я съел неизменную яичницу и порцию джема с жадностью, которая в юные годы неизменно следует за бессонной ночью. Потом закурил сигарету и сидел, глядя, как студенты из Святой Троицы и

Баллиоля один за другим расплачивались и уходили, шаркая туфлями, через улицу к себе в колледж. Когда я вышел из чайной, было без малого одиннадцать, перезвон над городом вдруг смолк, и вместо него зазвучал стройный благовест, оповещающий жителей о начале службы.

На улицах не осталось никого, кроме идущих на молитву – студенты, преподаватели, жены, торговцы шли тем особым, чисто английским шагом, каким ходят только в церковь, с одинаковым успехом избегая торопливости и праздной медлительности; шли, неся в руках переплетенные в черную кожу или обернутые в белый пергамент молитвенники десятка враждующих между собою сект; шли к святому Барнабасу и к святой Колумбе, к святому Алоизию и к святой Марии, в Пьюзи-Хаус, в Блэкфрайерс и бог знает куда еще – к памятникам реставрированной норманнской архитектуры и возрожденной готики, к строениям в ложновенецианском и псевдоафинском стиле, шли в этот летний солнечный день, каждый в храм своего племени. Только четыре гордых язычника открыто провозглашали свою независимость: четыре индуса вышли из ворот Баллиоля в свежих фланелевых брюках, выутюженных спортивных куртках и в белоснежных тюрбанах, неся в пухлых коричневых руках разноцветные подушки, корзинки для пикника и «Неприятные пьесы» Бернарда Шоу, и зашагали по направлению к реке.

На Корнмаркет-стрит на ступенях «Кларендон-отеля» я увидел группу туристов, с помощью дорожной карты втолковывавших что-то своему шоферу, а напротив, из-под старинной арки «Золотого креста», выходило несколько моих знакомых студентов, которые завтракали там и задержались, чтобы выкурить по трубке на увитом плющом дворике. Вприпрыжку, забыв о строе, промчался на молитву отряд бойскаутов с пестрыми ленточками и значками на груди, и на Карфаксе мне навстречу попалась направляющаяся к проповеди в городскую церковь процессия членов муниципалитета с мэром во главе – все в алых мантиях, с золотыми цепями, предшествуемые жезлоносцами и провожаемые невозмутимыми взорами. На Сент-Олдейтс-стрит мимо меня прополз крокодил попарно семенящих мальчиков-певчих в крахмальных воротниках и забавных круглых шапочках, они шли в кафедральный собор у Том-гейт. Так, через целый мир благочестия, шел я к Себастьяну. Его не оказалось дома. Я прочитал письма, которыми был завален его письменный стол, но они ничего мне не говорили, пересмотрел пригласительные карточки на каминной полке – там не было ни одной новой. Тогда я сел и читал «Лисьи чары» до тех пор, пока он не пришел.

– Я был на мессе в Старом Дворце, – сказал он. – Я не ходил целый семестр, и на прошлой неделе монсеньор Белл два раза приглашал меня на обед, а это уж я знаю, что значит. Ему писала мама. Вот я и пошел, сел в передний ряд, на самом виду у него, и положительно орал «Богородица Дева, радуйся», когда кончилась служба; так что теперь с этим покончено. Ну, как вы поужинали с Антуаном? О чем разговаривали?

– Разговаривал главным образом он. Скажите мне, вы были с ним знакомы в Итоне?

– Его исключили через полгода после моего поступления. Я помню его. Он всегда был заметной фигурой.

– Он ходил с вами к мессе?

– Не помню, по-моему, нет. А что?

– А с вашей семьей он знаком?

– Чарльз, какой вы нынче странный, право. Нет. Насколько мне известно, не знаком.

– И с вашей матерью в Венеции не встречался?

– По-моему, она что-то такое рассказывала. Только не помню что. Кажется, она гостила у наших итальянских родственников Фольере, а Антони со своей мамашей приехал и остановился в гостинице, и был какой-то вечер у Фольере, куда их не пригласили. Мама мне что-то об этом рассказывала, когда я сказал, что знаком с ним. Не знаю, зачем ему непременно хотелось быть на вечере у Фольере, княгиня так гордится тем, что в ее жилах течет английская кровь, она ни о чем другом говорить не может. Да против Антуана никто ничего не имел, по крайней мере всерьез, как я понял. Затруднения были связаны с его мамашей.

– А кто такая герцогиня де Венсанн?

– Поппи?

– Стефани.

– Об этом вам лучше расспросить Антуана. Он утверждает, что имел с ней интрижку.

– Правда имел?

– Вероятно. В Каннах это, по-моему, обязательно для всех. Почему это вас интересует?

– Просто я хочу знать, много ли правды в том, что Антони говорил мне вчера вечером.

– Ни слова, я думаю. В этом его обаяние.

– Вы, может быть, считаете, что это очень мило, а по-моему, это настоящая чертовщина. Да вы знаете ли, что он весь вчерашний вечер пытался настроить меня против вас и это ему почти удалось?

– Вот как? Ну и глупо. Алоизиус бы этого никак не одобрил, верно я говорю, старый чванливый медведь?

И тут пришел Бой Мулкастер.

Глава третья

На долгие каникулы я приехал домой – без определенных планов и совершенно без денег. Для покрытия послеэкзаменационных расходов я продал Коллинзу за десять фунтов Фрайевский экран, и из них у меня теперь оставалось четыре; мой последний чек с перебором в несколько шиллингов исчерпал мой счет в банке, и я получил предупреждение, что больше без подписи отца выписывать счетов не должен. Новая сумма причиталась мне только в октябре, так что перспективы мои были достаточно мрачны, и, обдумывая положение, я испытывал нечто отдаленно напоминающее раскаяние в собственной недавней расточительности.

Когда начинался семестр, все взносы за учение и содержание в университете у меня были уплачены и больше ста фунтов оставалось на руках. И все это ушло, да еще там, где можно было пользоваться кредитом, мною не было выплачено ни пенса. Особых причин для этих трат не было, не было погони за какими-то необыкновенными удовольствиями, которых иначе как за деньги не добудешь; деньги транжирились просто так, ни на что. Себастьян часто смеялся надо мною: «Вы швыряетесь деньгами, как букмекер», – но все, что я тратил, было потрачено на него или вместе с ним. Его собственные финансы были постоянно в неопределенно-расстроенном состоянии. «Деньги проходят через руки юристов, – беспомощно жаловался он. – И вероятно, они кое-что присваивают. Во всяком случае, мне достается немного. Мама, разумеется, всегда даст мне, сколько я ни попрошу».

– Почему бы вам тогда не попросить ее увеличить ваше содержание?

– Нет, она любит делать подарки. У нее такое доброе сердце, – пояснил Себастьян, добавляя еще один штрих к портрету, который складывался в моем воображении.

И вот теперь Себастьян удалился в этот свой особый мир, куда меня не приглашали, и я остался один во власти скуки и раскаяния.

Как несправедливо редко в зрелые годы вспоминаем мы добродетельные часы нашей юности, ее дни видятся на расстоянии непрерывной чередой легкомысленных солнечных беспутств. История молодой жизни не будет правдивой, если в ней не найдут отражения тоска по детским понятиям о добре и зле, угрызения совести и решимость исправиться, черные часы, которые, как зеро на рулетке, выпадают с грубо предсказуемой регулярностью.

Так и я провел первый день в отчем доме, бродя по комнатам, выглядывая из окон то в сад, то на улицу, в состоянии черного недовольства собой.

Отец, как мне было известно, находился дома, но вход к нему в библиотеку был заповедан, и только перед самым ужином он вышел, и мы поздоровались. В то время ему не было и шестидесяти, но у него была странная страсть прикидываться стариком; на вид ему можно было дать лет семьдесят, а голос, которым он говорил, звучал как у восьмидесятилетнего. Он вышел мне навстречу нарочито шаркающей походкой китайского мандарина, со слабой

улыбкой привета на губах. В те дни, когда он ужинал дома – то есть практически каждый вечер, – он садился за стол в бархатной куртке, отделанной шнуром, какие были модны за много лет до этого и должны были впоследствии опять войти в моду, но в то время представляли собой подчеркнутый анахронизм.

– Мой дорогой мальчик, мне никто не сообщил, что ты уже приехал. Наверное, устал с дороги? Тебе тут дали чаю? Как же ты поживаешь? Надеюсь, хорошо? А я недавно сделал одно довольно смелое приобретение – купил у Зонершайнов терракотового быка пятого века. И вот рассматривал его в библиотеке и забыл о твоем приезде. Тесно было в вагоне? Удалось ли тебе занять место в углу? (Он сам так редко ездил, что путешествия других вызывали у него глубокое сочувствие.) Хейтер принес тебе вечернюю газету? Новостей, конечно, никаких – все один вздор.

Объявили, что ужин подан. По старой привычке отец взял с собой к столу книгу, но, вспомнив о моем присутствии, украдкой уронил ее под стул.

– Что ты пьешь? Хейтер, что мы можем предложить мистеру Чарльзу?

– Есть немного виски, сэр.

– Есть немного виски. Или ты предпочел бы что-нибудь другое? Что еще у нас есть?

– Больше в доме ничего нет, сэр.

– Больше ничего нет. Скажи Хейтеру, чего бы тебе хотелось, и он распорядится завезти. Я теперь не держу в доме вина. Мне его пить запрещено, а гости у меня не бывают. Но на то время, пока ты здесь, нужно, чтобы у тебя было все по вкусу. Ты надолго?

– Пока еще не знаю, папа.

– Эти каникулы очень-очень длинные, – сказал он с тоской. – В мое время мы отправлялись компанией куда-нибудь в горы. Считалось, что читать книги. Почему? Почему, – повторил он ворчливо, – альпийский пейзаж должен побуждать человека к занятиям?

– Я думал позаниматься на каких-нибудь курсах живописи – по живой натуре.

– Дорогой мой, все курсы сейчас закрыты. Желающие обучаться едут в Барбизон и тому подобные места и пишут на открытом воздухе. В мое время было такое учреждение, которое называлось «Клуб рисунка», – мужчины и женщины вместе (сопение), велосипеды (снова сопение), брюки гольф в мелкую клетку, полотняные зонты и, по всеобщему мнению, свободная любовь (сильное сопение) – все один вздор. Я думаю, они и теперь существуют. Поинтересуйся.

– Главная проблема каникул – это деньги, папа.

– О, на твоем месте я бы не стал беспокоиться смолоду о таких вещах.

– Видишь ли, я несколько поиздержался.

– Вот как, – отозвался отец без всякого интереса в голосе.

– По правде сказать, я не очень-то представляю себе, как прожить эти два месяца.

– Ну, я в таких вопросах наихудший советчик. Мне никогда не случалось «поиздержаться», как ты весьма жалобно это называешь. А с другой стороны, как иначе можно выразиться? Быть в затруднительном положении? В стесненных обстоятельствах? Без гроша в кармане? (Сопение.) Или сидеть на мели? Или, может быть, в калоше? Скажем, что ты сидишь в калоше, и на том остановимся. Твой дедушка говорил мне: «Живи по своим средствам, но если окажешься в затруднении, приди ко мне, не ходи к евреям». Все один вздор. Ты попробуй. Сходи на Джермин-стрит к этим господам, которые дают ссуды под собственноручную расписку клиента. Мой дорогой мальчик, они не дадут тебе ни соверена.

– Что же ты тогда советуешь мне делать?

– Твой кузен Мельхиор был неосторожен с капиталовложениями и оказался в очень глубокой калоше. Так он уехал в Австралию.

Я не помнил отца таким довольным с тех пор, как он когда-то нашел две страницы папируса второго века между листами Ломбардского часослова.

– Хейтер, я уронил книгу.

Книга была поднята с пола, раскрыта и прислонена к графину. Остальное время обеда он провел в молчании, иногда нарушаемом веселым сопением, которого, как мне казалось, не мог вызвать штудируемый им трактат.

Потом мы покинули столовую и расположились в зимнем саду, и здесь он непритворно забыл о моем существовании; мысли его, я знал, витали далеко, в тех давних столетиях, где он чувствовал себя непринужденно, где время измерялось веками и у всех фигур были стертые лица и имена, которые на самом деле оказывались искаженными словами с совершенно другим значением. Он сидел в позе, которая для всякого, кроме него, была бы вопиюще неудобной – боком в своем высоком кресле, держа у самого лица повернутую к свету книгу. Время от времени он брался за карандаш в золотом футлярчике, висевший у него на цепочке от часов, и делал заметки на полях. За распахнутыми окнами сгущались летние сумерки; тиканье часов, отдаленный шум уличного движения на Бейсуотер-стрит и шелест переворачиваемых отцом страниц были единственными звуками. Поначалу объявив себя банкротом, я счел разумным воздержаться от курения сигары, но теперь, отчаявшись, сходил в свою комнату и принес одну гавану. Отец даже не взглянул в мою сторону. Я обрезал ее, закурил и, подкрепив свою храбрость, сказал:

– Папа, ты ведь не хочешь, чтобы я прожил у тебя все каникулы?

– А? Что?

– Разве тебе не осточертеет за столько времени мое общество?

– Надеюсь, я никогда не обнаружил бы подобных чувств, даже если бы их испытывал, – кротко ответил отец и вновь погрузился в чтение.

Вечер прошел. Из всех углов часы разнообразных систем мелодично пробили одиннадцать. Отец закрыл книгу и снял очки.

– Здесь тебе всегда очень рады, мой мальчик, – сказал он. – Живи сколько хочешь.

В дверях он замедлил шаги и обернулся.

– Твой кузен Мельхиор заработал себе проезд в Австралию «на баке» (сопение). Что это за бак, интересно было бы знать?

В течение последовавшей знойной недели отношения мои с отцом резко ухудшились. Днем я почти не видел его; он часами отсиживался у себя в библиотеке, только изредка делая вылазки, и тогда я слышал, как он кричит с лестницы: «Хейтер, вызовите мне кеб!» Уезжал он иногда на полчаса и даже меньше, иногда на весь день; что у него были за дела, не объяснял. Случалось, я видел, как ему в библиотеку относили на подносе убогие детские лакомства; сухарики, стакан молока, бананы. Если мы сталкивались в коридоре или на лестнице, он рассеянно смотрел на меня и бормотал: «Да-да», или «Очень жарко», или «Чудесно, чудесно». Но вечером, спускаясь в зимний сад в своей бархатной куртке, он весьма вежливо со мною здоровался.

Обеденный стол был полем нашего сражения.

Во второй вечер я взял с собой к столу книгу. Его рассеянный, кроткий взгляд остановился на ней с внезапным интересом, и по пути в столовую он украдкой оставил свою на столике в прихожей. Когда мы сели за стол, он жалобно сказал:

– Право, Чарльз, ты мог бы и поговорить со мной. У меня был очень трудный день, и я надеялся отдохнуть за приятной застольной беседой.

– Конечно, папа, пожалуйста. О чем мы будем разговаривать?

– Ободри меня. Развлеки, – с обидой в голосе, – расскажи о новых спектаклях.

– Но ведь я не был ни на одном.

– И напрасно, вот что я тебе скажу, нужно ходить. Это неестественно, когда молодой человек все вечера проводит дома.

– Но, папа, я же объяснял тебе, что у меня нет денег на театры.

– Мой дорогой, не следует так подчиняться денежным соображениям. Подумай только, твой кузен Мельхиор в этом возрасте принимал участие в финансировании целого музыкального спектакля. Это было одно из его немногих удачных предприятий. Посещение театра тебе следует рассматривать как составную часть образования. Если ты посмотришь жизнеописания выдающихся людей, окажется, что не меньше половины из них впервые познакомились с драмой, стоя на галерее. Мне говорили, что это ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно там встречаются настоящие ценители и критики. Это так и называется: «в эмпиреях с богами». Расходы пустячные, а развлечения начинаются еще на улице, при входе, когда ты оказываешься в толпе истинных театралов. Как-нибудь мы с тобой вместе проведем вечер «в эмпиреях с богами». Как ты находишь стряпню миссис Эйбл?

– Без перемен.

– Она вдохновлена твоей теткой Филиппой. Твоя тетка составила десять вариантов меню, которые и выполняются неукоснительно. Когда я один, я не замечаю, что ем, но теперь, когда здесь ты, необходимо внести разнообразие. Чего бы тебе хотелось? На какие деликатесы сейчас сезон? Раков ты любишь? Хейтер, скажите миссис Эйбл, чтобы она приготовила нам завтра вечером раков.

В тот вечер обед состоял из белого безвкусного супа, пережаренного рыбного филе под розовым соусом, бараньих котлет, уложенных вокруг горки картофельного пюре, и желе с персиками на каком-то губчатом пироге.

– Я обедаю так основательно только из уважения к твоей тетке Филиппе. Она постановила, что обед из трех блюд – это мещанство. «Стоит только дать слугам волю, – говорила она, – и сам не заметишь, как будешь есть на обед одну баранью котлету». На мой вкус, ничего не может быть лучше. Я, собственно, так и поступаю, когда миссис Эйбл выходная и я обедаю в клубе… Но твоя тетка распорядилась, чтобы дома мне на обед подавался суп и еще три блюда; иногда это рыба, мясо и острая закуска, в других случаях – мясо, закуска, десерт; предусмотрен целый ряд допустимых перестановок. Замечательно, как некоторые люди умеют излагать свои мнения в лапидарной форме. У твоей тетки как раз был такой дар. Трудно себе представить, что когда-то она и я каждый вечер вместе обедали за этим столом – как мы сейчас с тобой, мой мальчик. Вот она так неустанно старалась развлечь меня. Рассказывала мне о

книгах, которые читала. Забрала себе в голову, что этот дом должен стать ее домом, видите ли. Считала, что у меня появятся странности, если я останусь один. Возможно, что они у меня и появились, как ты находишь? Но у нее ничего не вышло. В конце концов я ее выдворил.

В последних его словах явно слышалась угроза.

Я оказался непрошеным гостем в родном доме, и во многом это произошло из-за тети Филиппы. После гибели моей матери она переселилась к нам с несомненным намерением сделать, как сказал отец, этот дом своим домом. Тогда я ничего не знал о ежевечерних терзаниях за обеденным столом. Тетя проводила время со мною, и я принимал это как должное. Так продолжалось год. Первым признаком перемены было то, что она открыла свой дом в Суррее, хотя раньше собиралась его продать, и стала жить в нем, пока я находился в школе, приезжая в Лондон только на несколько дней за покупками и по светским делам. Летом мы с нею вместе жили где-нибудь на побережье. Потом, когда я уже был в последнем классе, она уехала за границу. «Я ее выдворил», – сказал он с насмешкой и торжеством про эту добрую женщину, зная, что я услышу в его словах вызов самому себе.

Когда мы выходили из столовой, отец сказал:

– Хейтер, вы уже передали миссис Эйбл относительно раков, которые я заказал на завтра?

– Нет, сэр.

– И не передавайте.

– Очень хорошо, сэр.

Мы расположились в креслах в зимнем саду, и тогда он заметил:

– Интересно, собирался ли Хейтер вообще говорить миссис Эйбл про раков? Знаешь, я думаю, нет. Он, по-моему, решил, что я шучу.

На следующий день мне в руки неожиданно попало оружие. Я встретил старого школьного товарища и сверстника по фамилии Джоркинс. Я никогда не питал к нему особой симпатии. Однажды, еще во времена тети Филиппы, он был у нас к чаю, и она вынесла над ним приговор, найдя, что в душе он, быть может, и хороший человек, но внешне непривлекателен. Теперь я искренне ему обрадовался и пригласил к нам ужинать. Он пришел. Он нисколько не переменился. Отца, по-видимому, предупредили, что у нас к ужину гость, потому что вместо обычной бархатной куртки он явился во фраке; фрак и черный жилет вместе с очень высоким воротничком и очень узким белым галстуком составили его вечерний костюм; он носил его с меланхолическим видом, словно придворный траур, надетый в молодости, пришедшийся по вкусу и с тех пор не снимаемый. Смокингов у него вообще не водилось.

– Добрый вечер, добрый вечер. Очень любезно с вашей стороны, что ради нас вы проделали такой путь.

– О, мне ведь недалеко, – ответил Джоркинс, который жил на Сассекс-сквер.

– Наука сокращает расстояния, – загадочно заметил отец. – Вы здесь по делам?

– Ну, я вообще-то занимаюсь делами, если вы об этом.

– У меня был кузен, тоже делец, – вы его знать не могли, это было еще до вас. Я только на днях рассказывал о нем Чарльзу. В последнее время он у меня не выходит из головы. Так вот он, – отец сделал паузу перед непривычным выражением, – сел в лужу.

Джоркинс нервно хихикнул. Отец устремил на него укоризненный взгляд.

– Вы находите в его несчастье повод для смеха? Или, быть может, я употребил непонятное для вас выражение? Вы, я полагаю, сказали бы просто «прогорел».

Отец оказался полным хозяином положения. Он сочинил для себя, что Джоркинс – американец, и весь вечер вел с ним тонкую одностороннюю игру, объясняя ему всякий чисто английский термин, который встречался в разговоре, переводя фунты в доллары и любезно адресуясь к нему с фразами вроде: «Разумеется, по вашим меркам…», «Мистеру Джоркинсу это, без сомнения, покажется весьма провинциальным…», «На огромных пространствах, к которым привыкли у

вас…», – а мой гость явно чувствовал, что его принимают за кого-то другого, но никак не мог устранить недоразумение. В течение всего ужина он искательно заглядывал отцу в глаза, надеясь найти в них простое подтверждение того, что это всего только изощренная шутка, но встречал взгляд, исполненный столь безмятежного добросердечия, что оставался сидеть совершенно обескураженный.

Один раз мне показалось, что отец зашел уж слишком далеко. Он сказал Джоркинсу:

– Боюсь, что, живя в Лондоне, вы очень скучаете без вашей национальной игры.

– Без моей национальной игры? – переспросил Джоркинс, сначала ничего не поняв, но потом сообразив, что ему открывается наконец возможность поставить все на свои места.

Отец перевел с него на меня взгляд, ставший на мгновение из доброго злобным, потом обратил его, опять подобревший, на Джоркинса. Это был взгляд игрока, открывающего против фуля покер.

– Без вашей национальной игры, – любезно подтвердил он. – Я имею в виду крикет. – И безудержно засопел носом, весь трясясь и утирая глаза салфеткой. – Работа в Сити, вероятно, почти не оставляет вам времени на крикет?

На пороге столовой он с нами простился.

– Всего доброго, мистер Джоркинс, – сказал он. – Надеюсь, вы опять посетите нас, когда в следующий раз будете в нашем полушарии.

– Послушай, что это твой папаша тут наговорил? Ей-богу, он, кажется, считает меня американцем.

– У него бывают странности.

– Зачем он мне советовал сходить в Вестминстерское аббатство? Чудно как-то.

– Да. Я сам не всегда его понимаю.

– Ей-богу, мне показалось, что он меня разыгрывает, – озадаченно признался Джоркинс.

Контратака отца последовала через несколько дней. Он разыскал меня и спросил:

– Мистер Джоркинс все еще здесь?

– Нет, папа, конечно, нет. Он был у нас только к ужину.

– Жаль, жаль. Я думал, что он у нас гостит. Такой разносторонний молодой человек. Но ты, я надеюсь, ужинаешь дома?

– Да.

– Я пригласил сегодня гостей, чтобы внести немного разнообразия в твое унылое домоседство. Как ты думаешь, миссис Эйбл справится? Нет, конечно. Но гости будут не очень придирчивы. Ядро, если можно так выразиться, составят сэр Катберт и леди Орм-Херрик. После ужина будут, надеюсь, музицировать. Я включил для тебя в число приглашенных кое-кого из молодежи.

Реальность превзошла опасения. По мере того как гости собирались в гостиной, которую мой отец, не боясь показаться смешным, именовал галереей, я убеждался, что их подбирали со специальной целью досадить мне. «Молодежью» оказались мисс Глория Орм-Херрик, обучающаяся игре на виолончели, ее жених, лысый молодой человек из Британского музея, и мюнхенский издатель-моноглот. Я видел, как отец, сопя, поглядывал на меня из-за стеклянного шкафа с керамикой. В тот вечер он носил на груди, точно рыцарский боевой значок, маленькую алую бутоньерку.

Ужин был длинный и явно рассчитанный, как и состав гостей, служить тонким издевательством. Меню не было произведением тети Филиппы, но восходило к гораздо более ранним временам, когда отец еще обедал в детской. Блюда отличались орнаментальностью и были попеременно одни красными, другие белыми. На вкус они и поданное к столу вино оказались одинаково пресны. После ужина отец подвел немца-издателя к роялю, а сам, пока тот музицировал,

удалился с сэром Катбертом Орм-Херриком в галерею смотреть этрусского быка.

Это был вечер кошмаров, и, когда наконец гости разъехались, я с удивлением обнаружил, что еще только самое начало двенадцатого. Отец налил себе стакан ячменного отвара и заметил:

– Какие у меня, однако, скучные знакомые! Знаешь, если бы меня не побуждало твое присутствие, я едва ли раскачался бы пригласить их. В последнее время я вообще пренебрегал светскими обязанностями. Теперь, когда ты находишься здесь с таким долгим визитом, я буду часто устраивать подобные приемы. Понравилась ли тебе мисс Орм-Херрик?

– Нет.

– Нет? Что же в ней вызвало твое неодобрение: маленькие усики или очень большие ноги? По-твоему, она приятно провела у нас время?

– Нет.

– Мне тоже так показалось. Боюсь, что никто из наших гостей не отнесет сегодняшний вечер к числу счастливейших в своей жизни.

Этот молодой иностранец, по-моему, играл из рук вон плохо. Где я мог с ним познакомиться? С ним и с мисс Констанцией Сметуик? Ума не приложу. Но законы гостеприимства следует соблюдать. Пока ты здесь, ты у меня скучать не будешь.

В последующие две недели между нами развернулась война не на жизнь, а на смерть, и я нес в ней более тяжелые потери, потому что у отца было больше резервов и шире пространство для маневрирования, я же был заперт на узком плацдарме между горами и морем. Он не объявлял целей своих военных действий, и я до сего дня не знаю, были ли они чисто карательными – имелись ли у него геополитические соображения насчет того, чтобы выдворить меня за границу, как в свое время были выдворены тетя Филиппа в Бордигеру и кузен Мельхиор в Порт-Дарвин, – или же, что более вероятно, он воевал просто из любви к сражениям, в которых он, надо признаться, блистал.

От Себастьяна я получил одно письмо – большой, бросающийся в глаза конверт; его подали мне при отце, когда мы сидели за завтраком, я заметил его любопытный взгляд и унес письмо с собою, чтобы прочесть в одиночестве. Оно было написано на листе плотной траурной почтовой бумаги времен королевы Виктории, с черными коронами и черным обрезом, и вложено в такой же конверт. Я с жадностью приступил к чтению.

Замок Брайдсхед,

Уилтшир,

не знаю, какого числа

Дорогой Чарльз!

Я нашел целую пачку этой бумаги в глубине одного ящика и непременно должен написать Вам, так как я оплакиваю мою погибшую невинность. С самого начала видно было, что она не жилец на этом свете. Врачи давно отчаялись.

Я скоро уезжаю в Венецию и буду гостить у папы в его дворце зла. Жаль, что Вас не будет там со мною. Жаль, что Вас нет со мною сейчас.

Здесь я ни минуты не бываю один. Члены моего семейства постоянно приезжают, берут сундуки и чемоданы и снова уезжают, но белая малина уже поспела.

Я, пожалуй, не возьму Алоизиуса в Венецию. Не хочу, чтобы он якшался с невоспитанными итальянскими медведями и перенимал у них дурные манеры.

С приветом или чем угодно

С.

Мне были знакомы его письма: я получал их еще в Равенне и теперь не должен был бы испытывать досады. Но в то утро, бросая в корзину разорванный надвое кусок плотной бумаги и печально глядя в окно на задымленные дворы и разномастные задние фасады Бейсуотера с их лабиринтом водосточных труб и пожарных лестниц, я видел перед своим мысленным взором лицо Антони Бланша, белеющее в листве деревьев, как оно белело в свете свечей Темского ресторана, и слышал в приглушенном шуме уличного движения его отчетливую речь: «…мы не должны винить Себастьяна, если временами он бывает придурковат…» Его речь чем-то напоминает мне эту довольно отвратительную картину под названием «Мыльные пузыри».

Много дней после этого я считал, что ненавижу Себастьяна; потом, в одно прекрасное воскресенье, от него пришла телеграмма, разогнавшая эти тени, но взамен отбросившая тень еще мрачнее прежних.

Отец как раз отлучился из дому и, вернувшись, застал меня в состоянии лихорадочного возбуждения. Он остановился в холле, не сняв даже панамы с головы, и улыбался мне самым благожелательным образом.

– Вот уж не догадаешься, где я провел сегодня день. В зоопарке! Весьма приятное времяпрепровождение. Звери так радуются солнцу.

– Папа, я должен немедленно уехать.

– Вот как?

– Мой большой друг… с ним случилось ужасное несчастье. Я должен срочно ехать к нему. Хейтер уже пакует мои вещи. Через полчаса поезд.

И я показал ему телеграмму, в которой стояло: «Искалечен срочно приезжайте Себастьян».

– Н-да, – сказал мой отец. – Сожалею, что ты так расстроен. По этой телеграмме я бы не сказал, что несчастье столь уж велико, как оно тебе представляется, – в противном случае она едва ли была бы подписана самим пострадавшим. Но конечно, вполне возможно, что он в сознании и при этом слеп или лежит с переломанным позвоночником. А почему, собственно, твое присутствие так необходимо? Ты не обладаешь медицинскими познаниями. И не носишь

духовного сана. Ты что, имеешь виды на наследство?

– Я же сказал, что это мой большой друг.

– Ну, Орм-Херрик тоже мой большой друг, но я бы не ринулся сломя голову к его смертному одру в такой солнечный воскресный день. Едва ли леди Орм-Херрик была бы мне особенно рада. Однако ты, как я вижу, не испытываешь сомнений. Мне будет недоставать тебя, мой дорогой мальчик, но из-за меня, пожалуйста, не торопись обратно.

Паддингтонский вокзал в этот августовский воскресный вечер, залитый косыми лучами солнца, пробивающимися сквозь запыленную стеклянную крышу, с запертыми газетными киосками и редкими пассажирами, не спеша шагающими в сопровождении носильщиков, непременно успокоил бы душу менее взволнованную, чем моя. Поезд отошел почти пустой. Я велел поставить чемодан в угол в третьем классе, а сам отправился в вагон-ресторан.

– Первая очередь ужинов после Ридинга, сэр, в начале восьмого. Что прикажете вам пока подать?

Я заказал джин с вермутом; мне подали, и в это время поезд тронулся; ножи и вилки затеяли свой обычный перезвон; солнечный пейзаж поплыл, разворачиваясь, за окном. Но душа моя была невосприимчива к этим приятным впечатлениям; страх бродил в ней подобно дрожжевой закваске, и наверх, пузырясь, выскакивали картины несчастья. То это было заряженное ружье, неосторожно оставленное у живой изгороди; то лошадь, взвившаяся на дыбы и опрокинувшаяся на спину; то полузатопленная коряга в тенистом пруду; то внезапно обломившийся сук старого вяза или автомобиль, врезавшийся в стену, – целый каталог опасностей цивилизованного мира неотступно вставал передо мною; я даже рисовал себе маниакального убийцу, в темноте замахнувшегося обрезом свинцовой трубы. Нивы и леса проносились за окном, залитые медвяным вечерним солнцем, а у меня в ушах перестук колес настойчиво твердил одно: «Ты поздно приехал! Ты поздно приехал! Его уже нет! Уже нет! Нет!»

Я поужинал, пересел на уилтширскую ветку и в сумерках прибыл на станцию моего назначения – Мелстед Карбери.

– В Брайдсхед, сэр? Пожалуйте туда. Леди Джулия ждет вас на вокзальной площади.

Она сидела за рулем открытой машины. Я узнал ее с первого взгляда, ошибиться было невозможно.

– Вы мистер Райдер? Садитесь!

Ее голос был голосом Себастьяна, и манера речи была тоже его.

– Как он?

– Себастьян? Прекрасно. Вы ужинали? Ну, все равно, наверное, что-нибудь несъедобное. Мы с Себастьяном одни, поэтому решили с ужином подождать вас.

– Что с ним случилось?

– А разве он не написал? Наверное, побоялся, что вы не приедете, если будете знать. Он сломал какую-то косточку в лодыжке, такую малюсенькую, что у нее даже нет названия. Но вчера ему сделали просвечивание и велели целый месяц держать ногу кверху. Ему это ужасно досадно, полетели все его планы. Он просто вне себя от огорчения. Все разъехались. Он хотел, чтобы я с ним осталась. Вы ведь знаете, как он умеет разжалобить. Я уже было согласилась, но в последнюю минуту мне пришло в голову: «Неужели ты никого не можешь к себе выписать?» Он сказал, что все заняты или уехали и вообще нет никого подходящего. В конце концов он согласился попытать счастья с вами, а я обещала, что останусь, если и это не получится, так что можете себе представить, как я рада вашему прибытию. Должна признать, это очень благородно с вашей стороны – приехать так издалека по первому зову.

Но когда она произносила эти слова, я услышал – или вообразил, будто слышу, – в ее голосе еле различимую нотку презрения за то, что я проявил такую безотказную готовность к услугам.

– Как это с ним случилось?

– Представьте, во время игры в крокет. Он разозлился и в сердцах споткнулся о дужку. Не бог весть какое почетное увечье.

Она была так похожа на Себастьяна, что рядом с нею в сгущающихся сумерках меня смущала двойная иллюзия – знакомого и незнакомого. Так, глядя в сильный бинокль на человека, находящегося на большом расстоянии, видишь до мельчайших подробностей его лицо и одежду, и кажется, протяни руку, и ты его достанешь, и странно, почему он не слышит тебя и не оглядывается, а потом, посмотрев на него невооруженным глазом, вдруг спохватываешься, что ты для него лишь едва различимая точка, неизвестно даже, человек или нет. Я знал ее, а она меня не знала. Ее темные волосы были не длиннее, чем у Себастьяна, и ветер так же раздувал их со лба; ее глаза, устремленные на сумеречную дорогу, были его глазами, только больше, а накрашенный рот не так приветливо улыбался миру. На запястье у нее был браслет с брелоками, в ушах – золотые колечки. Из-под светлого пальто выглядывал цветастый шелковый подол, юбки тогда носили короткие, и ее вытянутые ноги на педалях автомобиля были длинными и тонкими, что тоже предписывалось модой. Ее пол воплощал для меня всю разницу между знакомым и незнакомым в ней, и потому я ощущал ее особенно женственной, как никогда еще не ощущал ни одну женщину.

– Ужасно боюсь водить машину вечером, – сказала она. – Но дома, кажется, не осталось никого, кто бы умел водить автомобиль. Мы с Себастьяном просто как на зимовке. Надеюсь, вы не ожидали застать здесь веселое общество?

Она потянулась к ящику на переднем щитке за пачкой сигарет.

– Нет, спасибо.

– Прикурите для меня, если не трудно.

Ко мне впервые в жизни обратились с подобной просьбой, и, вынимая из своего рта курящуюся сигарету и вкладывая ей в губы, я услышал тонкий, как писк летучей мыши, голос плоти, различимый только для меня одного.

– Спасибо. Вы здесь уже были. Няня рассказала. Мы обе нашли очень странным, что вы не остались выпить со мной чаю.

– Это Себастьян.

– Вы, кажется, слишком уж позволяете ему командовать собой. И напрасно. Ему это вредно.

Мы уже свернули на подъездную аллею; свет померк в небе и на лесистых склонах, и дом темнел, словно рисованный тушью, только в середине светился золотой квадрат раскрытой двери. Навстречу вышел человек и взял мой багаж.

– Вот и приехали.

Она поднялась со мной по ступеням, вошла в холл, швырнула пальто на мраморный столик и наклонилась погладить выбежавшую к ней собаку.

– С Себастьяна станется, что он уже сел ужинать.

В этот момент в дальнем конце холла между двух колонн появился Себастьян в инвалидном кресле. Он был в пижаме и халате, и одна нога у него была забинтована.

– Ну вот, дорогой, привезла тебе твоего дружка, – сказала Джулия опять с едва слышной ноткой презрения в голосе.

– Я думал, вы при смерти, – проговорил я, ощущая в эту минуту, как и все время, с тех пор как приехал, не облегчение, а главным образом досаду, что не состоялась великая трагедия, к которой я мысленно подготовился.

– Я и сам так думал. Боль была невыносимая. Джулия, как по-твоему, если ты попросишь, может быть, Уилкокс даст нам сегодня шампанского?

– Терпеть не могу шампанское, да и мистер Райдер уже ужинал.

– Мистер Райдер? Мистер Райдер пьет шампанское в любое время дня и ночи. Понимаешь, когда я смотрю на свою огромную запеленатую ногу, мне все время представляется, будто у меня подагра, и поэтому очень хочется шампанского.

Мы ужинали в комнате, которую они называли «Расписная гостиная». Это был просторный восьмиугольник более поздней отделки, чем остальной дом, его

восемь стен украшали венки и медальоны, а по высокому своду потолка пасторальными группами располагались условные фигуры помпейских фресок. Эти фрески, и мебель атласного дерева с бронзой, и ковер, и золоченые висячие канделябры, и зеркала, и светильники – все вместе составляло единую композицию, законченное произведение великолепного мастера.

– Мы обычно ужинаем здесь, когда никого нет, – сказал Себастьян. – Здесь так уютно.

Они ужинали, а я съел персик и рассказал им о войне, которую вел с отцом.

– По-моему, он душка, – сказала Джулия. – А теперь, мальчики, я вас покину.

– Куда это ты?

– В детскую. Я обещала няне последнюю партию в «уголки».

Она поцеловала Себастьяна в макушку. Я распахнул перед нею двери.

– Покойной ночи, мистер Райдер, и до свидания. Завтра мы, наверно, не увидимся. Я уезжаю рано утром. Не могу передать, как я вам признательна, что вы сменили меня у постели больного.

– Моя сестра сегодня что-то уж очень напыщенно выражается, – заметил Себастьян, когда она исчезла.

– Мне кажется, я ей не нравлюсь, – сказал я.

– Ей никто особенно не нравится. Я ее люблю. Она ужасно на меня похожа.

– Правда?

– Внешне, разумеется, и манерой говорить. Я бы не мог любить человека, который похож на меня характером.

Мы допили портвейн, и я прошел рядом с креслом Себастьяна через холл с колоннами в библиотеку, где мы просидели весь тот вечер и почти все вечера последовавшего месяца. Она была расположена в дальнем конце дома, обращенном к прудам; все окна здесь были распахнуты звездам, и ночным ароматам, и сине-серебристому лунному свету, заливающему дали, и плеску падающей воды в фонтане.

– Мы чудесно будем жить здесь одни, – сказал Себастьян, и, когда на следующее утро я, бреясь, выглянул в окно своей ванной и увидел, как Джулия в автомобиле с багажом на запятках выехала со двора и вскоре скрылась за холмом, не бросив назад ни единого прощального взгляда, меня посетило чувство освобождения и покоя, подобное тому, что мне предстояло испытать много лет спустя, когда после тревожной ночи сирены выли «отбой».

Глава четвертая

Блаженная лень молодости! Как неповторима она и как важна. И как быстро, как невозвратимо проходит! Увлечения, благородные порывы, иллюзии, разочарования – эти признанные атрибуты юности остаются с нами в течение всей жизни. Из них составляется самая жизнь; но блаженное ничегонеделание – отдохновение еще не натруженных жил, огражденного, внутрь себя обращенного ума – принадлежит только юности и умирает вместе с ней. Быть может, в чертогах чистилища души героев одаряются им взамен райского блаженства, в котором им отказано, быть может, самое райское блаженство имеет нечто общее с этим земным состоянием; я, во всяком случае, ощущал себя почти на небесах все те блаженные дни в Брайдсхеде.

– Почему этот дом зовется «Замок»?

– Он и был замком, пока его не перенесли.

– То есть как это?

– Да так. У нас был замок, он стоял в миле отсюда, рядом с деревней. Потом нам приглянулась эта долина, мы разобрали замок, перевезли сюда камни и здесь построили новый дом. Я этому рад. А вы?

– Если бы он был мой, я не жил бы больше нигде.

– Но, Чарльз, он ведь не мой. Сейчас, правда, он принадлежит мне, но обычно в нем кишат алчные звери. Вот если бы так могло быть всегда – всегда лето, всегда ни живой души, и фрукты созрели, и Алоизиус в хорошем настроении.

Вот так мне нравится вспоминать его – в инвалидном кресле, среди летнего великолепия обследующим вместе со мною заколдованный замок, нравится вспоминать, как он катит свое кресло по садовым дорожкам между двумя рядами вечнозеленого кустарника, разыскивая поспевшую клубнику и срывая теплые фиги, как протискивается из теплицы в теплицу, из аромата в аромат, из климата в климат, чтобы срезать гроздь мускатного винограда и выбрать орхидеи для наших бутоньерок, как он с притворным трудом ковыляет вверх по лестнице в бывшую детскую и сидит там рядом со мной на вытертом цветастом ковре, разложив вокруг по полу все содержимое старого ящика для игрушек, а няня Хокинс мирно штопает в углу и негромко говорит: «Хороши, что один, что другой! Малые дети, право. Этому, что ли, вас в колледже учат?» Или как он лежит навзничь на разогретой каменной ступени колоннады, а я сижу рядом на стуле и пытаюсь зарисовать фонтан.

– А купол тоже Иниго Джонса? По виду он более поздний.

– Ах, Чарльз, не будьте таким туристом. Не все ли равно, когда он построен? Важно, что он красивый.

– Меня такие вещи интересуют.

– О боже, я думал, мне удалось отучить вас от всего этого, непобедимый мистер Коллинз.

Жить в этих стенах, бродить по комнатам, переходить из Соуновской библиотеки в китайскую гостиную, где голова шла кругом от золоченых пагод и кивающих мандаринов, живописных свитков и чиппендейльской резьбы, из помпейского салона в большой, увешанный гобеленами зал, который простоял

таким, каким был создан, вот уже два с половиной столетия, просиживать долгие часы на затененной террасе – все это служило само по себе бесценным эстетическим уроком.

Эта терраса была венцом, завершением всего здания, она выходила на пруды и покоилась на мощных каменных опорах, так что с порога казалось, будто она нависла прямо над водой и можно, стоя у балюстрады, ронять камешки в пруд у себя под ногами. Справа и слева ее охватывали два крыла колоннады, завершающиеся павильонами, от которых липовые рощи уводили к лесистым склонам. Пол террасы местами был замощен плитами, в других местах были разбиты клумбы и причудливо расставлены ящики с карликовым буксом; букс повыше рос в виде живой изгороди широким овалом с углублениями, в которых стояли статуи, а посредине, главенствуя над всем, высился фонтан – фонтан, который должен был бы стоять где-нибудь на пьяцце южноитальянского города, фонтан, который и был столетие назад замечен в каком-то южноитальянском городе одним из предков Себастьяна, замечен, куплен, привезен и вновь установлен в чужом, но гостеприимном краю.

Мысль нарисовать его подал мне Себастьян. Задача не из легких для любителя – овальный бассейн с островком стилизованных скал посредине, на скалах росли каменные тропические растения и естественные веера дикого английского папоротника; меж ними лились несчетные струи ручьев, среди них резвились фантастические африканские звери, верблюды, жирафы, свирепый лев, и каждый изрыгал потоки воды; а сверху, на скалах высотой почти до крыши дома, высился египетский обелиск из красного песчаника, – но по какому-то странному случаю, хоть это и было выше моих возможностей, рисунок удался, правда, я принужден был опускать некоторые детали и кое-где пойти на небольшие хитрости, но получилось в конце концов вполне приличное подражание Пиранези.

– Подарить вашей матери? – спросил я.

– Зачем? Вы же с ней не знакомы.

– Из вежливости. Я гощу в ее доме.

– Подарите лучше няне, – сказал Себастьян.

Я так и сделал, и она присоединила рисунок к своей коллекции на комоде, заметив при этом, что фонтан получился совсем как настоящий, хотя, в чем его красота, которой все так восторгаются, она лично, хоть убей, никогда не понимала.

Для меня его красота была открытием.

Со школьных лет, когда я разъезжал на велосипеде по окрестным приходам, разбирая надписи на древних надгробиях и фотографируя старинные купели, я питал любовь к архитектуре, но, хотя умом я давно сделал характерный для моего поколения скачок от пуританизма Джона Рескина к пуританизму Роджера Фрая, однако в душе мои пристрастия оставались чисто английскими и средневековыми.

И вот теперь совершилось мое обращение в барокко. Здесь, под этим высоким и дерзким куполом, под этими ячеистыми потолками, здесь, гуляя под этими карнизами и арками, проходя по этой тенистой колоннаде и часами сидя перед этим фонтаном, ощупывая взглядом его затененные извилины, следуя мысленно за линиями его неумолчного эха и радуясь этим собранным воедино прихотливым дерзаниям и свершениям, я чувствовал, как во мне рождается новая способность восприятия, словно вода, бьющая и катящаяся среди его камней, была воистину живой водой.

Как-то в одном из шкафов мы нашли большую черную лакированную жестянку с масляными красками, еще вполне пригодными к употреблению.

– Это мама купила года два назад. Кто-то ей сказал, будто по-настоящему оценить красоту мира можно, только пытаясь изобразить ее. Мы над мамой тогда ужасно смеялись. Она совершенно не умеет рисовать, а краски, даже самые яркие, к тому времени, как она кончала их смешивать, превращались в однородную массу цвета хаки. – Несколько высохших грязно-серых пятен на палитре подтверждали это. – Корделии поручалось мытье кистей. В конце концов мы все восстали и убедили маму бросить это занятие.

Краски подсказали нам мысль расписать «контору». Так называлась небольшая комната, выходившая на колоннаду; когда-то она использовалась для ведения дел поместья, но теперь была в запустении, там стояли лишь ящики с садовыми играми да кадка с высохшим кустом алоэ; как видно, задумана она была для

целей более высоких – для вечерних чаепитий или уединенных штудий, ибо оштукатуренные стены были украшены изящными медальонами в стиле рококо, а потолок красиво уходил вверх крестовым сводом. На стене этой комнаты в одном из небольших овалов я набросал романтический пейзажик и в последующие дни занялся его расцвечиванием. Работа эта по воле случая и настроения мне удалась. Кисть словно сама делала все, что от нее требовалось. Это был летний пейзаж без фигур, композиция из белых облаков и синих далей, с увитыми плющом руинами на переднем плане, скалами и водопадом и уходящими к горизонту купами деревьев. Я совсем не умел писать маслом и обучался этому ремеслу, по мере того как работал. Когда по прошествии недели картинка была закончена, Себастьян стал настаивать, чтобы я поскорее взялся за медальон побольше. Я сделал несколько набросков. Ему хотелось, чтобы это был fete champetre[7 - Деревенский праздник (фр.).] с качелями в лентах, и пажом-негритенком, и пастушком, играющим на свирели, но картина не выходила. Я хорошо сознавал, что с пейзажиком мне просто повезло и что такая сложная стилизация мне никак не по плечу.

В другой раз мы вместе с Уилкоксом спустились в винный подвал и видели пустые ниши, в которых некогда хранились огромные запасы вина. Теперь был заполнен только один трансепт, там в ларях покоились бутылки с вином, иные урожаев пятидесятилетней давности.

– Новых поступлений у нас не было со времени отъезда его светлости, – сказал Уилкокс. – Многие старые вина пора уже выпить. Нам следовало бы заложить восемнадцатый и двадцатый год. Я получил об этом несколько писем от виноторговцев, но ее светлость отсылает меня к лорду Брайдсхеду, а он отсылает к его светлости, а его светлость велит обращаться к адвокатам. Вот мы и дошли до такого состояния. По теперешнему расходу здесь хватит на десять лет, но что с нами будет потом?

Наш интерес Уилкокс приветствовал; были принесены бутылки из каждого ларя, и в эти безмятежные дни, проведенные в обществе Себастьяна, состоялось мое первое серьезное знакомство с вином и были посеяны семена той богатой жатвы, которой предстояло служить мне поддержкой и опорой в течение долгих бесплодных лет. Мы усаживались с ним в «Расписной гостиной», перед нами на столе стояли три раскупоренные бутылки и по три бокала против каждого. Себастьян разыскал где-то книгу о дегустации вин, и мы неукоснительно следовали всем ее наставлениям. Бокал слегка разогревали над пламенем свечи, на треть наполняли вином, вращая, взбалтывали, грели в ладонях,

смотрели на свет, вдыхали аромат, осторожно потягивая, набирали в рот, перекатывали на языке, и вино звенело о нёбо, словно монета о прилавок, потом запрокидывали головы и ждали, пока оно стечет тонкой струйкой по горлу. А потом мы говорили о нем, заедая печеньем, и переходили к следующему вину; затем от него возвращались к первому, затем к третьему, и вот уже все три оказывались в обращении, и мы путали бокалы и спорили, который из-под какого вина, и передавали их друг другу, и вот уже в обращении оказывалось шесть бокалов, иные из них содержали смесь, так как мы наполнили их по ошибке не из той бутылки, и в конце концов мы принуждены были начинать сначала, взяв опять по три чистых бокала, и бутылки пустели, а наши высказывания о их содержимом становились вдохновенней и прихотливей.

– …Это вино робкое и нежное, как газель.

– Как малютка эльф.

– …вся в белых яблоках на гобеленовом лугу.

– Как флейта над тихой рекой.

– …А это старое мудрое вино.

– Пророк в пещере.

– …А это жемчужное ожерелье на белой шее.

– Как лебедь.

– Как последний единорог.

Мы покидали золотой свет свечей нашей столовой ради света звезд на террасе и сидели на краю фонтана, остужая ладони в воде и пьяно слушая ее плеск и журчанье среди искусственных скал.

– По-вашему, обязательно нам каждый вечер напиваться? – спросил меня как-то утром Себастьян.

– По-моему, обязательно.

– И по-моему, тоже.

Мы почти ни с кем не виделись. Несколько раз на нашем пути встречался управляющий, тощий дряблокожий джентльмен в чине полковника. Один раз он даже был к чаю. Но обычно нам удавалось прятаться от него. По воскресеньям из близлежащего монастыря приезжал монах, служил мессу и оставался с нами завтракать. Это был первый мой знакомый католический священник; я заметил, как сильно он отличается от пастора, но Брайдсхед был полон для меня такого очарования, само собой разумелось, что все здесь должно быть необыкновенным и ни на что не похожим; отец Фиппс оказался, в сущности, простым и добродушным человечком, питавшим живейший интерес к местному крикету и упрямо полагавшим, несмотря на разуверения, что мы его разделяем.

– А ведь знаете, отец, мы с Чарльзом не имеем о крикете ни малейшего представления.

– Хотелось бы мне посмотреть, как Теннисон в прошлый четверг выбил пятьдесят восемь. Вот это, верно, был удар! В «Таймсе» был прекрасный репортаж. Вы видели его в матче против южноафриканцев?

– Нет, я его вообще никогда не видел.

– Я тоже. Уже много лет не видел хорошего матча, последний раз отец Грейвз повел меня, когда мы возвращались через Лидс из Эмплфорта, где присутствовали при рукоположении нового настоятеля. А в Лидсе в тот день играли с Ланкаширом, и отец Грейвз высмотрел такой поезд, что в нашем распоряжении оставалось добрых три часа до пересадки. Вот это была игра! Я помню каждую подачу. А с тех пор все только слежу по газетам. Вы часто бываете на крикете?

– Никогда не бываю, – ответил я, и он посмотрел на меня с тем детским недоумением, которое я впоследствии не раз встречал на лицах религиозных людей: мол, вот человек подвергает себя опасностям мирской жизни, а так мало пользуется ее многообразными радостями.

Себастьян всегда ходил к мессе, хотя больше там почти никто не присутствовал. Брайдсхед не был старинным католическим центром. Леди Марчмейн привезла с собой нескольких слуг-католиков, но большинство домочадцев и все арендаторы, если вообще молились, то в серой деревенской протестантской церквушке, среди могильных плит Флайтов.

В те времена вера Себастьяна была для меня тайной, но разгадывать ее меня не тянуло. Сам я был чужд религии. В раннем детстве меня водили в церковь по воскресеньям, в школе я каждый день присутствовал на молебнах, но зато, когда я приезжал на каникулы домой, мне разрешалось не ходить в церковь по воскресеньям. Учителя, преподававшие Закон Божий, внушали мне, что библейские тексты крайне недостоверны. Никто никогда не предлагал мне молиться. Отец в церковь не ходил, если не считать дней особых семейных событий, но даже и тогда не скрывал своего издевательского отношения к обрядам. Мать, как я понимаю, была набожной. Мне в свое время казалось странным, что она сочла долгом оставить отца и меня и поехать на санитарной машине в Сербию, чтобы там погибнуть от истощения в снегах Боснии. Но позже я открыл нечто подобное и в своем характере. Позже я также пришел к признанию того, о чем тогда, в 1923 году, не считал нужным даже задуматься, и принял сверхъестественное как реальность. Но в то лето в Брайдсхеде эти потребности были мне неведомы.

Часто, едва ли не каждый день с начала нашего знакомства, какое-нибудь случайное слово в разговоре напоминало мне, что Себастьян – католик, но я относился к этому как к чудачеству вроде его плюшевого мишки. Мы не говорили о религии, но однажды в Брайдсхеде, на второй неделе моего там пребывания, когда мы сидели на террасе после ухода отца Фиппса и просматривали воскресные газеты, Себастьян вдруг удивил меня, со вздохом сказав:

– О Господи, как трудно быть католиком.

– Разве это для вас имеет значение?

– Конечно. Постоянно.

– Вот не замечал. Вы что же, боретесь с соблазнами? По-моему, вы не добродетельнее меня.

– Я гораздо, гораздо порочнее вас, – с негодованием возразил Себастьян.

– В чем же тогда дело?

– Кто так молился: «Боже, сделай меня добродетельным, но не сегодня»? Не помните?

– Нет. Вы, наверное.

– Я-то конечно. Каждый вечер. Но не в этом дело. – Он снова вернулся к разглядыванию страниц «Всемирных новостей». – Опять скандал с вожатым бойскаутов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143943&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Вторая очередь! (фр.) – приглашение второй смены в вагон-ресторан. – Здесь и далее примеч. пер.

2

И я в Аркадии (лат.).

3

В целом (лат.).

4

Поэма Т. С. Элиота (1888–1965) – американского и английского поэта. Перевод А. Сергеева.

5

О, северная скука! (фр.)

6

Великолепный (ит.).

7

Деревенский праздник (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/ivlin-vo/vozvraschenie-v-braydshed-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити